

ИВАН
ЛЕПИН

Самый счастливый год

ИВАН ЛЕПИН

Самый
счастливый
год



ИВАН ЛЕПИН

**Самый
счастливый
год**

Пермское
книжное
издательство
1985

Л48
Р2

© Пермское книжное издательство, 1985.

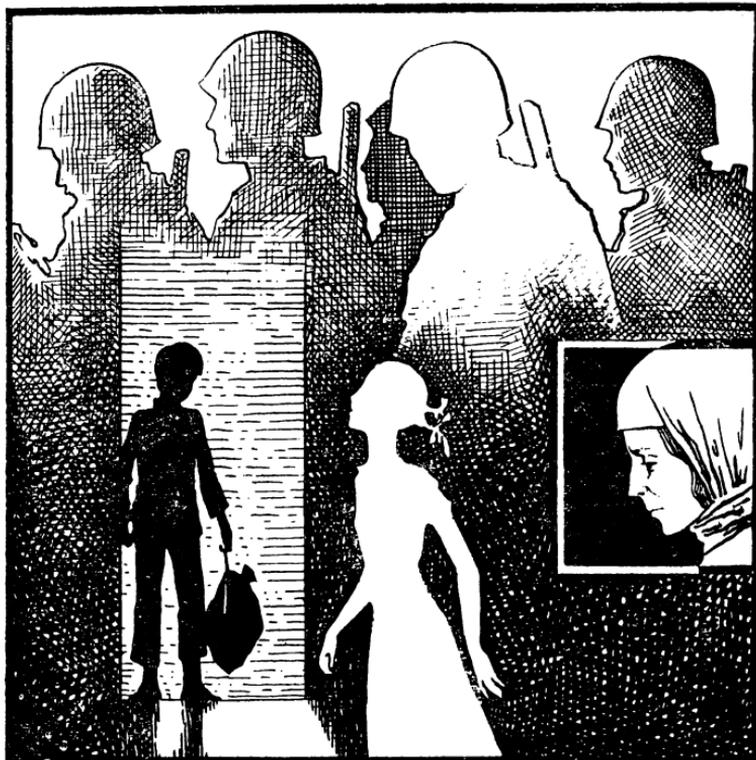
Л48 Лепин И. З.

**Самый счастливый год: Повести. — Пермь: Кн.
изд-во, 1985. — 271 с.**

В книгу вошли четыре повести. Одна из них — о войне, три посвящены теме роста и мужания юного человека, на чью долю достались нелегкие детство и юность.

Л $\frac{70302-14}{M152(03)-85}$ — 37—85

Р2



Трое

ДАША

Своего петуха у них теперь не было, и Даша с матерью, не надеясь друг на друга, беспокойно ворочались всю ночь — боялись проспать. А к утру обе крепко уснули. Разбудил их стук в окно.

— Марусь, ай ты еще, милая, спишь?

Мать мгновенно подхватилась и запричитала:

— О господи, что это со мной случилось? И вправду не надо было резать петуха, не зря Дашка отговаривала...

Она в спешке надела юбку задом наперед и резво — откуда у нее, беременной, прыть взялась? — кинулась в сенцы открывать дверь.

Даша соскочила с лежанки следом. Не глядя, хватала с приступка еще с вечера приготовленную одежду и впопыхах напяливала ее.

Наклонила висячий глиняный рукомоЙник, набрала пригоршню теплой воды, плеснула себе в лицо.

На улице уже развиднелось, из конца в конец деревни перекатывался петушиный переклик.

Мать позвала Фросю Тубольцеву в хату, но та, слышала Даша, решительно отказалась:

— Собирайтесь скорей, я тут вот, на завалинке, обожду.

Даша заспешила в погреб — он на дворе находился, за хатой. Там, на пятой ступеньке, она безошибочно —

сама вчера ставила — нащупала махотку с маслом, баклажку с молоком, вареного петуха, завернутого в белую тряпицу, десяток вареных яиц — тоже в тряпице. Остальное — хлеб, две ситные лепешки, кусок сала, два, с мизинец, первых огурца, кисет с табаком-самосадам — было уже уложено в котомку, сшитую из грубого домо-тканого полотна.

Открылась скрипучая дверь чулана, и в хату вошла заспанная тетя Шура Петюкова, эвакуированная, схватила Дашу за рукав кофты:

— Дочка, уважь, не посчитай за труд, передай моему старику, — и достала из-под фартука бутылку самогона-первака. — Он там, поди, со своими суставами замучился.

Пока укладывали еду да увязывали котомку, от разговоров проснулся Сережка, тринадцатилетний Дашин брат. Он слез с печи на приступок, протер глаза и стал канючить:

— Мам, ну можно я пойду? Все Дашка да Дашка... А я тоже хочу на отца посмотреть.

Матери было некогда, она металась по хате — как бы чего не забыть, — помогала Даше подвязывать чулки, легкие матерчатые ходаки, потому резко прикрикнула на сына:

— Сиди уж! Распустил юни. Вернется отец — насмотришься.

— А если не вернется?

— Чего? — разогнулась мать и метнула в сторону Сережки грозный взгляд. — Счас возьму веревку, я тебе покажу — «не вернется»!

И тот на время притих.

Будь Дашина власть, она бы Сережку с собой взяла. Ведь не ему нести котомку, налегке же он не устанет. Цельный вон день бегаёт — не умаривается. И тут бы ничего с ним не случилось. Но мать... Попробуй ей возрази! Строгая она. Если что решила, редко когда отступится.

Больше того: встанешь на Серезкину сторону, мать и ее, Дашу, может не отпустить. Так что, братец дорогой, извини. Придется тебе снова дома посидеть.

Даша завязала наконец ходяки. Приподняла, как бы взвешивая, котомку — проверила, надежны ли лямки.

Мать помогла поднять котомку на спину Даше. Прикинула: «Не меньше пятнадцати фунтов. Не так уж и тяжело, но дорога ведь неблизкая. Уж лучше б все-таки самой было идти».

Обеспокоенно спросила:

— Ничего не давить?

— Не.

— Ну, с богом, дочь. — И повторила наставление: — Значить, не забудь: кумою, мне кажется, можно позвать Ксюшку Родионову, а кумом... Егора хотели, дак теперь он на фронте. Нехай отец посоветуить: или деда Емельяна, или Василька — раз уж мужиков нетути. Да нехай имя подсказать — и мальчику, и девочке, на всякий случай.

В темном углу приступка отчаянно всхлипывал Серезка:

— Мам, ну пусти...

Мать и ухом не повела на этот всхлип — будто не слышала.

На улице она пособила Фросе Тубольцевой надеть котомку, проводила ее и Дашу до дороги. Неподвижными глазами грустно смотрела им вслед, скрестив руки на сильно выпиравшем животе.

МИТЬКА

Примерно в те минуты, когда проснулся от разговоров Серезка, разбудили и его дружка, Митьку Алутина, жившего по соседству, через одну хату.

Был он всего на полтора года старше Серезки, но уже считался за главного в семье.

Митька спал на чердаке: в хате было полно детей, своих и эвакуированных. Мать буквально за ноги подтянула его к лестнице.

— Слазь, супостат ты этакий!

Митька сонно огрызнулся:

— Самой сходить лень, а меня посылаешь.

— Дурачок, да на кого ж я эту ораву оставлю? Слазь быстрее, вот-вот Фрося с Дашей придут.

Орава — это Митькины три младшие сестры и братишка Ваня. Ему год с небольшим. Только ходить начинает. Оставаться с оравой тоже не мед: то и дело их корми, умывай, приглядывай, чтобы на речку не ушли. Надоедят за день хуже горькой редьки.

Но и к отцу идти в неизвестные края, размышлял Митька, вытаскивая из нестриженных с зимы волос соломинки, никакой охоты нету. День, наверно, опять выдастся жарким, а тащиться по жаре с тяжелой котомкой — не в лес за ягодами сходить. Уморишься, как лошадь в пахоту...

— Ма, — несчастным голосом говорит Митька, — можя, в следующий раз схожу? Не нынче...

— Во, идол! И не совестно тебе? Отцу подштанники позарез нужны, а он — «в следующий раз»? Да и обрадуется тебе отец...

— Подштанники, ма, давай с теткой Фросей или Дашкой перешлем. А передача... Солдат, сама ведь говорила, сейчас лучше кормють — не то, что весной.

— Слазь! «С теткой Фросей...» У них своей ноши хватаить.

Ах, эти проклятые подштанники! Не посчастливилось же отцу! Во время прожарки белья загорелись они у него, одна штанина до самого колена истлела, другая вся в дырках. Отец через тетку Кузнечиху из соседней деревни Болотное, навестившую неделю назад своего мужа, передал эту историю и просил принести ему новые подштанники.

— Слазь, вон уже зовуть тебя. Мешок я приготовила. С дороги действительно доносился Дашин голос:

— Митькя-я! Догоняй нас, мы пошли...

Делать было нечего. Митька резво — спиной к лестнице — спустился с чердака, сходил быстренько по неотложному делу за угол хаты, выпил в сенцах кружку вечерошника, надел котомку и выскочил на улицу.

— Можя, обулся бы? — вдогонку посоветовала Ксения.

— Долго. Да и легче разутым.

Ксения перекрестила удаляющегося Митьку: в добрый путь.

Митька догнал Фросю с Дашей уже за деревней, напротив моста через Снову́. Небо на востоке, там, вдали, за Малым лесом, уже было обрызгано розовыми солнечными лучами. Высоко плавали редкие седые клочки облаков. Дорожная пыль, от росы покрывшаяся за ночь тоненькой корочкой, приятно щекотала босые Митькины ноги.

— Выспался, милый? — не оглядываясь, поинтересовалась Фрося. У нее, усмехнулся Митька, все милье. Даже если она с кем из соседей поругается, мильми их обзывает: «А у тебя, милая, голова сроду не чесана... Что? Я — сучка? От такой, милая, слышу».

Митька, тяжело дыша, шел в цепочке последним. Молчал, не находил должный ответ Фросе — то ли всерьез она спрашивает, то ли в шутку. Скорее, в шутку. А коли так — можно и прибрехать.

— Я еще со вторыми петухами проснулся.

А Даша — будто ее вечно за язык тянут — не преминула подначить:

— Оно и видно: вон и обуться не успел.

— Не захотел, — буркнул Митька.

— А как на гвоздь напорешься? — заботливо спросила Фрося.

— С мая разутый хожу — не напоролся... А ваши дети обутые, что ли, ходють?

— Мои, милый, дома, чуть что, им тут и помочь можно. А ты, милый, в далину идешь.

«Ладно, тетя Фрося, отстань. Мать не уговорила, ты и подавно не уговоришь», — без злости подумал Митька.

Фрося была не вредной женщиной. Наоборот, была она из добрых, и Митька это хорошо знал. Приемную дочь, например, Фрося, как родную, любила. А если на своей сахаристой яблоне, яблоки на которой вызревали самые сладкие в деревне, заставляла кого-нибудь из карасевских мальчишек, то не драла их, не шла с жалобой к родителям, а только немножко стыдила: «Разве можно без спроса чужое рвать?»

Нет, Фрося неплохой человек. С вредной Митька ни за какие деньги не согласился бы отправиться в неизвестную дорогу, в неведомую Подолянь, где стояли на передовой и Митькин отец, и Дашин, и вроде бы муж Фроси, и многие мужики из окрестных деревень.

Митька старался идти по пыли — теплее. Сбоку дороги — трава, на траве — ядреная роса, она будет обжигать ноги. А по пыли — одно удовольствие. Мягко.

Митька засучил темно-бордовые штаны, единственные нелатаные, сшитые по зиме из белой холстины (потом мать покрасила их в отваре ольховой коры). Он хотел в старых штанах идти — в них удобнее, — нет, отговорила мать: «Явишься к отцу как отряха... Да его засмеють за твои заплатки...»

Рубаха на Митьке была синяя, ситцевая. И тоже новая — всего один раз стиранная.

Если бы видел Митька себя со стороны, то не сердчал бы на мать. Причесать бы его сейчас — и за городского женишка бы сошел.

Характером Митька смирный. Драться он не умел, но, правда, любил дразниться, за что от ребят посмелее ему нередко попадало. С ровесниками почти не дружил,

а дружил с такими, как Сережка, Дашин брат, что был и помоложе, и послабее Митьки, а следовательно, и побезопаснее. Рост у Митьки метр тридцать восемь — невелик для его четырнадцати с половиной лет. Но Митька уверяет: «Еще подрасту!» Может, и подрастет, впереди еще долгая жизнь.

По дому он, после ухода отца в армию, помогает, хотя любит поворчать, попереговариваться с матерью. Сделать почти все сделает, а сначала поиграет на нервах, как сегодня утром: «Самой сходить лень, а меня посылаешь». Но в общем — сносный малый, есть в Карасевке и похуже.

Сейчас Митька ни о чем не думает, он пытается приноровиться к шагу своих спутниц.

Даша идет след в след Фроси, отставая ровно на шаг. Митька косит на нее взгляд, подмечает: тоже в новое одета. Кофта ее перекрашена из защитного цвета в бордовый. Сшил ее из военной гимнастерки, выменянной на табак, Митькин отец. Он же и юбку сшил — из военной плащ-палатки (карасевские женщины ухитрились подбивать расквартированных в деревне красноармейцев на всякого рода обмена: надо было как-то выкручиваться в нелегкой послеоккупационной жизни).

Черные ходаки на прорезиненной подошве Даша смастерила себе сама — это Митька знал. А что тут сложного? И он бы, если бы захотел, смастерил. Нужно вырезать по размеру ступни подошву, скроить из куска старого сукна верх, пришить его дратвой к подошве — и обувь готова. Для красоты можно еще и красные ленточки спереди вставить.

Даша на полголовы выше Митьки, она его дразнит карапетом, если он, Митька, в споре начинает обзывать ее рыжей. Даша, правда, никакая не рыжая, просто веснушки у нее к лету появляются. Но ведь как-то нужно ее дразнить, чем-то нужно отвечать на обидное это прозвище — карапет. Другого недостатка у Даши Митька

пока не обнаружил. Впрочем, косички у нее не толще свиных хвостиков... Надо при случае съязвить... А если она снова его карапетом обзовет, он ей скажет, что никакой он не карапет. Просто Даша почти на два года старше — осенью ей исполнится шестнадцать, — потому она и выше. И ехидно добавит при этом: «Ты уже замуж собираешься». — «Откуда ты взял?» — порозовев, спросит она. «Сам видел, как ты на красноармейцев заглядываешься. И они на тебя». Вот уж он устел! Берегись, Дашка, попробуй только тронуть Митьку Алутина! Он хоть и двоюродный брат твой, а так отбреет при случае, так отбреет!..

ФРОСЯ

Вышли на большак. Справа тянулась извилистая цепь желтобоких оврагов с глинистыми наносами на дне; за оврагами простиралась еще некошенная кулига; виднелась синяя полоска Сновы. Над речкой клубился серый туман.

Слева дороги росла яровая пшеница. Она уже начала желтеть. Фрося сошла на обочину, сорвала колосок, попробовала зерно на зуб. Оно брызнуло сладким молочком.

— Уродилась. А думали — опоздали. На Сидора-огуречника сеяли.

В середине мая, значит.

У Фроси самая вместительная котомка. Оно и понятно: у нее сил больше, взрослая женщина. Ей уже сорок три. На пять лет она старше Дашиной матери, а они, как это ни странно для Даши, дружат немного. Дашина мать крестила обоих Фросиных мальчиков. Так что они и родня какая-никакая.

Фрося обута в стоптанные сандалии. Они ей малость велики, и Фрося на всякий случай подвязала их прочным шнурком. Может показаться, что идти в стоптан-

ных сандалиях неудобно, но по Фросе этого не видно. По-прежнему она шагает первая, шагает споро, изредка оглядываясь и покрикивая:

— Не отставайте, милые.

Пройдя километра два, они свернули с большака на узкую, протоптанную до блеска тропку. Петляла она вверх-вниз через овраги, но сильно сокращала расстояние. Пожилые люди обычно ходили дорогой полегче, а вот местная молодежь да ребята — те иного пути не знали.

Солнце уже давно взошло. Парило. Неумолчно звенели жаворонки. Над пшеничным полем, высматривая добычу, кружил коршун. По бокам тропки сухо стрекотали кузнечики-прыгуны, в низкорослой траве шныряли сероспинные ящерицы, на самую близость подлетали к людям белые, оранжевые, черно-красные бабочки.

Митька засмотрелся на бабочек, на ящериц, споткнулся о торчащий из земли камень и чуть не упал.

Фрося сделала вид, что не заметила этого. Только про себя осудила Митьку: «Разинул, милый, рот на жаворонков».

Митька похромал малость — правую ногу он все-таки ушиб — и опять зашагал как ни в чем не бывало.

Дышать стало тяжелей: воздух был влажным от испарявшейся росы.

«Как там Егор мой себя чувствует? — уже в который раз думала Фрося. — Вспоминает ли нас? Мог бы и письмо написать — не верю, что некогда. Может, правда, нельзя — с передовой-то... А вдруг что с ним случилось?.. Нет-нет, — прогоняла черные мысли Фрося, — он у меня неуязвимый. Не зря, когда на фронт уходил, всем «до свиданьца» да «до скорой встречи» говорил».

И тяжело вздыхала: а вдруг все-таки... Скорей бы добраться до этой Подоляни. Скорей бы узнать все подробности, поведать Егору о своем житье-бытье.

И еще скорее зашагала навстречу желанному из всех желанных людей на свете — Егору Тубольцеву, любви своей и боли.

Это уже третья война Егора. На первую — империалистическую — пошел добровольно. Вместо старшего брата.

Егора, рассказывал он позже Фросе, на службу тогда не взяли — обнаружили какую-то болезнь, похожую на грыжу. А брату, находившемуся в полном здравии, строгую повестку принесли: явиться тогда-то, туда-то, с такими-то вещами. Голосила братова жена: «На кого ж ты меня с грудными двоешками оставляешь?»

А что голосить? Слезами горю не поможешь.

Жалко стало Егору брата, детишек его и особенно жону-красавицу. Вот тогда и пришел он к ним в дом, сказал: «Знаешь, братка, не ходи на войну». — «Это как? Да за такое!..» — «Не ходи, я за тебя пойду. Назовусь твоим именем — и никто не проверит». — «Дак у тебя ж эта, грыжа». — «Она, видать, только начинается, я ее и не чувствую». — «Неудобно мне вместо себя родного брата под пули посылать». На это Егор так отвечивал: «Неудобно штаны через голову надевать, понял? А удобно будить, если тебя кокнуть, а двое сирот останется? То-то ж».

Уговорил Егор брата и ушел воевать. Три года пробыл на передовой — в атаку ходил, отступал, в сырых окопах отсиживался, и ни болезнь никакая не пристала, ни пуля ни разу не подкараулила. Словно заговор какой знал. Так, по крайней мере, Егоровы товарищи-сослуживцы подумывали. А он не то что представления не имел о заговоре, а даже крест носить забывал. Судьба уж, видно, такая.

«Судьба, — повторила Фрося, припоминая мужнину жизнь, — а что ж еще?»

Оглянулась: Даша с Митькой молча посапывали сзади...

Вторая война была у Егора гражданская. С Деникиным боролся, за бандой Антонова гонялся лихой кавалерист из Карасевки Егор Тубольцев. Про грыжу и не вспоминал.

В конце двадцать второго года вернулся на родину и той же зимой сыграл многолюдную свадьбу с Олей Шошиной (за пятнадцать верст сваты ее нашли). Ничего, что на восемь лет старше невесты был Егор, — любви, если она настоящая, не страшен и большой перепад в годах.

Жили не тужили молодожены, от отца-матери, как часто водится, подобру-поздорову отделились, свою просторную хату поставили, хозяйством обзавелись — конем, коровой, овцами и прочей живностью.

Родился сын у них. Тоже Егором назвали. Да случилась непоправимая беда: подавился годовалый мальчонка кусочком яблока и задохнулся.

Погоревал Егор, погоревал, да и говорит однажды жене: «Хватит жалеть, давай жить. Давай еще одного родим».

Но почему-то Ольга не беременела. Злые языки распускали слух, что это бог ее наказал за потерянного ребенка.

В тридцатом году все-таки Ольга родила. Девочку. Нарadowаться отец-мать не могли, с рук не спускали малышку, тетешкали без конца.

Лишь в отсутствие Егора Ольга грустнела. Вскоре после родов все чаще и сильнее стала она ощущать боль внизу живота и в пояснице. Признаться Егору боялась — допытываться начнет: отчего да почему? А она и сама толком причину не знала. Скорее всего, бабка-знахарка сказывала, от простуды это. Где-то не убеждалась.

Раз, после вечерней дойки, ей стало не вмоготу терпеть боль при Егоре, и она, рухнув на кровать, расплакалась:

— Неужели и вправду это меня бог за Егорку карать?..

Егор сидел рядом, гладил смоляные волосы жены, успокаивал:

— Чепуха это — бог. Не горюй, подлечимся. Я вот завтра в район за фельдшером съезжу.

Назавтра легче стало — Ольга отговорила Егора ехать. К тому же сенокос начинался — работы предстояло много, не до болезни.

Девочка, Люся, раньше годика ходить начала, шустрая была, разговаривала бойко. Только не зря в народе говорят: где радость, там и горе. Будто и впрямь по Ольгиной судьбе бороной прошлись: что ни день — то хуже ей становилось. Ни лекарства, ни отвары, ни припарки, ни молитвы не помогали. И слегла она, напроць слегла.

Ольга видела, как туго приходилось Егору: и за дочерью ухаживал, и огород пропалывал, и корову доил, и хлеб пек... Все сам. Похудел, бриться забывал. Ольга просила его, чтобы тещу на помощь пригласил, — категорически отказался. «Я, Оленька, сам все смогу. Ай у меня рук нетути?»

И вот однажды, когда Егор подсел к ней на кровать, она предложила:

— А ты женись, Егор.

— Что? — вскипел Егор. — Что ты мелешь?

— А ты выслушай. Я все продумала.

— Ну, валяй, — нарочито грубо сказал он и приготовился слушать.

— И тебе легче будить, и Люсе нашей. Меня, надеюсь, в беде не оставите, кружку воды подадите. Правда, Егор: женись. С моего согласия.

— Ты представляешь, что люди скажут?!

— Умные — поймут, глупые — и раньше на нас всякую чепуху несли... Умоляю: женись. Она, мне кажется, согласится.

Егор вскочил с кровати:

— Кто — она?

— Она. Фрося.

Года полтора назад, когда Ольга в положении была, отпустила она Егора на свадьбу в соседнюю деревню. Одного. К дальнему родственнику какому-то. Там они рядом за столом и оказались — Егор и Фрося. Познакомились. Подвыпив, танцевать пошли. Краковьяк, страдания. А в барыне она его, огненного плясуна, чуть не запалила. Он первым и сдался. «Ты как заведенная машина», — сказал он ей и, выводя из круга, взял Фросю за бочок. «У нас в Баранове все такие», — утирая платочком лоб, не без гордости ответствовала Фрося и слегка отстранила Егорову руку.

«Огонь-девка», — подумал Егор и пригласил ее в сенцы — проветриться.

Уже вечерело, в сенцах стояла темень, и Егор полагал, что никто из гостей не замечал, как он, попыхи-вая «козьею ножкой», поглаживал шелковую кофточку на Фросе, как чмокнул ее в щечку. Раз и другой. А потом — горячо уже — в губы. Умом он понимал, что берет грех на душу перед Ольгой, а сердцем прикипал к молодой. Списывал тот грех на крепкий хмель. Протрезвеет — и остынет. «Да и не видит тут нас никто», — легкомысленно думал он и снова тянулся губами к губам Фроси.

Но какая свадьба, беседа или простая пьянка-гулянка проходит на Руси без вездесущих кумушек-голубушек? Без тех, что и приходят-то лишь затем, чтобы от их любопытствующего ока не ускользнула ни одна мелочь: кто сколько выпил, кто сколько съел, кто с кем танцевал, кто кого провожал. Для чего это нужно? А чтобы потом было о чем поговорить-посплетничать. Пусть даже без злого умысла.

Попался, конечно, на глаза кумушкам и Егор, наивно

полагавший, что в темени сенец никто не замечал их с Фросей и то, как они любовничали. И, естественно, через день-другой слух об этом дошел до Ольги. Ольга не поверила.

— Правда? — на всякий случай спросила она Егора, придерживая руками уже заметно выделявшийся живот.

— Бес попутал, — признался Егор. — По пьянке. Но даю клятву: больше это не повторится.

Ольга взглянула ему в чистые глаза — Егор выдержал ее прямой взгляд. И — никакого скандала. Егор и впрямь был по-прежнему верен Ольге. Только однажды, может через месяц после той свадьбы, встретился он с Фросей случайно в магазине, что на станции. С трудом узнал ее, одетую в простую одежду, в сдвинутом до бровей платке. Зато она не прошла мимо.

— Здравствуй, Егор-танцор!

Егор чуть с ума не свихнулся.

— Фрося?

— Не кричи, сумасшедший. Давай выйдем.

— Да тут моя очередь близко, — засуетился Егор.

— Испугался? Тогда — прощай, — тихо сказала Фрося и выскользнула из магазина.

Кто-то из карасевских, видать, оказался в тот день поблизости, потому что и эта коротенькая встреча не прошла незамеченной. О ней на завтра стало известно и Ольге, и всей деревне. Понеслись слухи:

— Егор, вишь ты, себе ухажерку завел.

— Понятно: баба в положении, а ему — надо...

— А кто она, эта ухажерка?

— Барановская, Фрося. У нее позалетося мужика из обреза кулаки убили.

— А-а, знаю...

Дома Егор чистосердечно сказал, что у него ничего с Фросей на сей раз не было. Ольга, однако же, теперь его словам верила с трудом. А точнее — не верила со-

всем. Одно ее утешало: когда родит, когда разрешит Егору с собой спать, тогда, может, он уgomонится...

И вот она предлагала Егору жениться на Фросе. Сначала предлагала. Потом стала уговаривать, со слезами упрашивать, жалея его, здорового мужика:

— Ни капельки не приревную. Только не бросайте меня...

Она понимала, каким тяжким грузом стала для Егора. Понимала, что болезнь не отступит от нее, что и жить-то ей, может, совсем ничего осталось. Так пусть Егор, ее любимый Егор, пока не поздно, новой женой обзаведется. Чем раньше он начнет готовиться к новой жизни, тем лучше. И для него, и для дочери... Вот только б Фрося не отказала...

Еще неделю думал Егор. Через неделю послал сватов.

Не сразу Фрося согласилась. Сначала изумилась, заявила сватам:

— Это как же, милые, при живой-то жене?

Сваты были опытные, но не без труда убедили, что тут ничего недозволенного нет. Никто, уверяли, не осудит, худого слова не скажет. Понимают ведь люди: какая теперь Ольга жена? Вон пластом лежит; за ней уход нужен, а разве одному мужику справиться?

Отца у Фроси не было — погиб в гражданскую. Мать была. Она особо дочь не отговаривала. Но осторожно сказала:

— Смотри сама. Как бы токо не ославили.

— Напрасно, тетка, волнуешься, — опять успокаивала ее и Фросю сваты. — У нас в Карасевке народ сознательный, не то, что у вас в Баранове. Лихого слова никогда никто зря не скажет.

Фрося же в конце концов рассудила так: «Мне уже тридцать, женихов по моим годам близко нет. Так чего бояться? Ну посплетничают бабы, почешут языки, а потом надоест. Егор — мужик статный, заметный. А глав-

ное — веселый. У него не глаза — бесенята. Я в него еще там, на свадьбе, по уши втрескалась. Пойду, будь что будет!»

И сказала матери и сватам коротко:

— Я согласна.

Двенадцать лет с тех пор минуло. Как жилось Фросе — одна она знает да, может, бог еще. Нет-нет, Егор не обижал ее, пальцем ни разу не тронул. Разве что под горячую руку иногда непривычным словом пулял, а чтоб обидеть — ни-ни.

Дети росли (кроме Егоровой и Ольгиной Люси, у нее своих двое народилось — и оба сына). Дети есть дети. С ними всегда хлопот-забот хватает. Фрося не различала, кто свой, кто не свой, поровну и лаской, и строгостью наделяла. И дети приносили ей больше несказанной материнской радости, чем тягот.

Может, Ольга доконала ее? Чужой ведь все-таки человек, а она, Фрося, за ней лучше больничной хожалки приглядывала: обмывала, обстирывала ее, а в последнее время и с ложечки кормила.

Да нет, и это не было в тягость. Фрося не белоручкой родилась, не существует для нее неприятной или черной работы.

Страшнее всего для Фроси все эти двенадцать лет были Ольгины слезы. Да еще протяжные печальные вздохи.

Вот сидят они за столом, обедают, Егор и Фрося. Егор ест аппетитно, похваливает:

— Мастерница ты у меня! Из ничего, считай, такие щи отчебучила — за уши не оттащишь.

Ольга видит со своей кровати, как Егор нежно поглаживает Фросю, слышит его слова, каких он ей, Ольге, никогда не говорил, и, тяжело вздохнув, еле сдерживая плач, вдруг отворачивается к стенке и прячет лицо в пуховую подушку.

Но Фрося уже заметила это. Словно ножом по сердцу полоснули ее. И, тоже с трудом сдерживая слезы, она выскакивает из-за стола и опрометью выбегает. И там, на улице ли, в чулане ли, дает волю слезам. «Господи, — причитает она, — да зачем же я согласилась на эти пытки? Да разве ж я не знала, что нельзя разделить счастье поровну?!»

Но унимала слезы и, как ни в чем не бывало, возвращалась в хату. Егор по-прежнему сидел за столом.

— Что с тобой?

— Да так, чуть не стошнило.

И — ни намека про свои слезы и Ольгины вздохи. А к Ольге становилась еще добрее.

Двенадцать лет вот так жила!

Недавно, на троицу, Ольга скончалась. Фрося плакала по ней — так по матери иные не плачут. Для поминок барана выменяла на свои девичьи наряды.

И девять дней, знали в деревне, не скупно отметила. И опять редела. Бабы и так и сяк успокаивали ее: мол, хватит убиваться, не вернешь Ольгу слезами с того света, мол, надо бога благодарить, что отмучилась наконец бедная. Куда там! Отпаивать Фросю пришлось.

А плакала Фрося не только по Ольге. Плакала по маме своей, преставившейся год назад, плакала по сиротинушке Люсе, по Егору плакала, который никогда теперь не свидится со своей первой женошкой.

И тут ей передали — вести в войну быстрее звука разносились, — что видели ее Егора якобы в дальней, километров за двадцать, деревне под названием Подольянь. Кто видел — узнать не могла. Вроде бы Кузнечиха из Болотного. Фрося — к Кузнечихе. «Нет, — развела руками та. — Родиона Алутина видела, он даже подштанники велел передать, а твоего — нет. Да ты сходи — там нашенских мужиков полно. Можя, встретишь».

«Может — надвое ворóжит», — вспоминала поговорку Фрося, но от Кузнечихи, однако, направилась на хутор

Зеленое Поле, к Парашке Заугольниковой. Она вместе с Кузнечихой ходила искать мужа и нашла его в тех же краях — в Самодуровке.

Парашка тоже не обрадовала Фросю.

— Перечислял мой, кого из ближних встречал, а про Егора ни словом не обмолвился... Хотя... Постой, — вспоминала она, — что-то он говорил про Макара и, кажется, про твоего. Память слаба стала... Их же вместе забирали: и моего, и твоего, и Макара с Родионом. Потом рассортировали, должно. А ты сходи... Многие наугад ходють... Разыскивают, случается.

И, не долго думая, Фрося начала собираться в дорогу.

Зарезала курицу, напекла блинцов, ситных лепешек, достала из-под загнетки две бутылки самогона, что остались с поминок, на грядке нащипала пучок зеленого лука... В общем, всякого набрала. Самого лучшего и вкусного. Только б Егора разыскать, повидать его, сообщить ему о несчастье... Пусть самогоночкой помянет Ольгу — один или с товарищами, как захочет...

А еще положила в котомку завернутую в тетрадный лист маленькую картонную иконку. Рассудила: есть ли бог, нет ли — никому неведомо, а вдруг и в самом деле защитная сила в иконке имеется. Хоть и без этого верит Егор в свое возвращение, а все-таки нелишне и оградить себя от беды — на всякий случай. Спрячет пусть в карман гимнастерки.

Узнала про Фросины сборы Маруся Алутина, кума, упросила ее прихватить и Дашу. Нужно, мол, Макару кое-что сообщить, да и передачу давно не носила.

— К тому же тебе веселей итить будить, — добавила.

А там весть и до Ксении донеслась. Она прибежала к Фросе:

— В Подольянь идешь? Вот кстати-то! Выручай, подруга, возьми с собой Митьку.

Сначала Фрося отнекивалась:

— Заблужусь еще с ребятами... Одной сподручней как-то, сама за себя отвечаешь, никаких переживаний.

— Мой Митька понятливый — не заблудится, — уговаривала Ксения. — Он, если что, любого расспросить не побоится.

И Фрося под конец махнула рукой:

— Ладно, что с вами поделаешь: где двое, там и трое. Пусть Митька собирается. Токо прикажи не реветь, чуть что.

ДАША

И вот они идут в Подолянь: Фрося Тубольцева, Даша, Митька.

Когда миновали погост, увидели большую деревню Нижнемалиново. Там живет Дашина родня — тетя Зина. У тети Зины трое ребят, а вот мужа нет. Муж, дядя Андрей, лежит на погосте. В армию его не взяли: хромой был. А когда немцы осенью сорок первого пришли, то дядю Андрея по доносу расстреляли. Как коммуниста.

«Давно я тетю Зину не проводывала, — упрекнула себя Даша, — совсем обленилась. Тут всего-то — шесть километров...»

Да, от Карасевки до Нижнемалинова было шесть километров — Даша это хорошо знала. Она заканчивала пятый класс в здешней средней школе. В шестом только два месяца проучилась, а затем нагрянули немцы, и занятия прекратились. «Не будь войны, — посетовала Даша, — я бы уже семилетку кончила».

Они повернули не в сторону школы, а налево, в сторону деревни Верхнемалиново. Дорогу сюда карасевские тоже неплохо знают: в этой деревне находится церковь. Здесь они все крещены, венчаны, сюда по большим праздникам (особенно на пасху) многие бабушки, несмотря на яростные запреты школьных учителей, бы-

вало, приводили своих внучек и внуков, соблазняя их всякими сладостями и батюшкиными просвирками.

Дорога пошла на крутой бугор, поросший лопухами, беленой, полынью, чернобыльником и прочим чертополохом. Жужжали шмели, пищали в буйнотравье птенчики, беззвучно летали серебристые стрекозы.

Даше захотелось пить. Мечтательно подумала: «Вот бы сейчас у тети Зины оказаться — она бы кваском из погреба угостила... У церкви попрошу тетю Фросю остановиться», — решила она.

И тут Даша увидела, что навстречу ей с бугра спускается... отец. Она рванулась вперед, закричала, протягивая руки:

— Па-а-ап!

Фрося, ничего не понимая, вздрогнула от неожиданного крика.

А Митька крутил по сторонам нечесаной головой: что случилось?

Пока они гадали, Даша подскочила к мужчине в военной форме, ковылявшему по другой стороне дороги. Подскочила — и залилась краской от стыда: надо же так обознаться! А похож здорово: такой же коренастый, круглолицый, а на лбу — такая же гармошка морщин...

Сообразив, что оплошала, Даша отпрянула от военного (тот ничего и не понял), закрыла лицо ладонями, чтобы не заметили ни Фрося, ни Митька, как живым огнем горят ее щеки.

— Что с тобой? — спросила Фрося, хотя догадывалась, что произошло.

— Обозналась.

— Не терпится отца увидеть?

— Не терпится, — призналась Даша.

— Оно так-то, — неопределенно сказала Фрося.

Митька же ехидно прыснул в кулак. До сочувствия в таких случаях он еще не дорос.

Наконец поднялись на бугор. Отсюда виден был бе-

лый купол церкви, вознесшийся над зарослями ракут и тополей.

Даша была любимицей отца. Нет, он не обходил вниманием двух ее младших братьев и двух сестер, поровну и конфетами наделял по возвращении из райцентра, где случалось иногда бывать, и на ногу качал всех по очереди, естественно, кроме повзрослевших уже Даши и Сережки, и на подводе всех разом катал, если выпадало свободное время. Но Дашу он любил особо. Уж больно старательной хозяйкой она была — материной помощницей. С детворой ли скажут ей побыть, печь ли растопить, грядки ли полить — безотказно выполняла всю работу Даша. Ну как такую дочь-послушницу не любить, не носить на руках?!

И училась Даша к тому же прилично, учителя про нее ни разу худого слова не сказали.

Вот за это и удостаивал ее особой чести отец, Макар Алутин. Первую конфетку — Даше, вожжи лошадей править — Даше, правой в детской ссоре признать кого? — Дашу.

— Эх, невеста у меня растеть — сто миллионов золотом! — похвалялся, подвыпив, Макар.

— Да она у тебя затворница, — подзуживали мужики.

— Она? У меня? — И, вернувшись домой, вежливо выпроваживал Дашу на вечеринку. «Покажи им, — приговаривал, имея в виду деревню и тех самых мужиков, — какая ты затворница! Только гордой будь! Глазки ребятам строй, но близко не подпускай! Поняла?»

И Даша, вне себя от счастья, готовая расцеловать отца, неслась на вечеринку. Но скромно сидела там, приютившись в уголке (если вечеринка проходила у кого-нибудь в хате), танцевала только «круговые» танцы, ребят и впрямь близко не подпускала.

Когда возвращалась домой — ближе к полночи, — открывал ей дверь отец.

— Не запозднилась? — спрашивал он.

— Что ты! Еще и одиннадцати нету.

Любила и Даша отца.

На эту войну он уходил в июле сорок первого. Проводить себя он разрешил только до околицы. Малышню в лобики поцеловал, а Дашу — в обе щечки. «Милый мой папочка, — почти нашептывали ее губы, — неужели ты не вернешься? Неужели тебя могут убить лютые враги? Я не верю, чтобы такого замечательного человека убили». К ее глазам подступили слезы, и если бы она произнесла вслух хоть слово, то они хлынули бы ручьем. Она бы разрыдалась на виду у деревни — в этот день провожали многих мужиков и взрослых ребят.

И, может, верой дочери был жив Макар. Уцелел при бомбежках и в кровопролитных боях под Черниговом, при неудачном выходе из окружения, в плену, наконец. Лагерь, куда он, кстати, попал вместе с Егором Тубольцевым, находился под Конотопом. В первые месяцы войны были случаи, когда немецкие охранники еще не столь рьяно выполняли строгие предписания в отношении русских пленных. Жадные до наживы, они порой за взятку отпускали некоторых красноармейцев.

Посчастливилось и Макару с Егором. Одна сметливая местная женщина выкупила их у конвоира за... серебряное кольцо и пол-литра водки. Принарядилась она в тот день, сняла с пальца обручальное кольцо («Может, и мой Яков к немцам попал, может, и для него кто добра не пожалеет?») и отправилась за город, где, многогорядно обнесенный колючей проволокой, находился лагерь.

Притворно, заигрывающе улыбаясь, с опаской, однако же, подошла женщина к охраннику, облизывающему бесцветные усыки.

— Пан, я хату строю, хаус по-вашему, мне бы пару солдат на помощь. — И показывает два пальца.

— Цвай?

— Цвай, пан, цвай. А это за услугу, — подала кольцо и из-под цветастого фартука — бутылку. На лице ее улыбка, а в глазах — печаль смертная.

Охранник взял кольцо, положил его на ладонь, полюбовался. Бутылку, весело подмигнув женщине, спрятал в карман.

— Гут, гут... Эй, — поманил он двух пленных, проходивших мимо ворот, — геен зи...

Так оказались Макар с Егором на свободе. Привела спасительница — а звали ее Анной — их в дом к себе, накормила, чем смогла, остаться предлагала на два-три дня, но мужики в один голос заявили:

— Превеликое спасибо тебе, Аннушка, за доброту твою, но оставаться тут опасно.

И в тот же вечер двинулись в путь, в Курскую область, на родину.

Через неделю, уставшие и осунувшиеся, они были в Карасевке, занятой к тому времени, к ноябрю сорок первого, фашистами.

Даша первая увидела отца, когда он подходил к хате. Правда, сначала в заросшем рыжей бородой человеке, одетом в старую фуфайку, из которой торчали клочья ваты, она отца не признала. Но вот он приблизился к окнам, и Даше бросились в глаза родные бороздки морщин на лбу. И она закричала на всю хату:

— Папка идеть!

Мать с испуга вздрогнула, не веря дочери.

— Чего орешь?

— Папка идеть!

Отец не успел дверь отворить, а Даша уже висела у него на шее.

Была теперь Даша самым счастливым человеком на земле. Снова дома отец! Вон у соседей, у Серегиных, в первый же месяц войны не стало отца. Во многих семьях и знать не знают, где воюют их кормильцы, да и

живы ли вообще. А у них, у Алутиных, папка дома. Вот сейчас сидит он на конике, под иконами. Не успел отдохнуть с дороги, а уже взялся плести ей, Даше, лапти. Для повседневной носки. По праздникам Даша обувает бурки с галошами.

— Немцев в деревне много? — спросил сухо Макар. Даша вмиг подобралась.

— У нас их нет. А в Болотном стоят. И на станции тоже. У нас староста правит.

Прошел день, второй, третий...

Радовалась Даша, наблюдая, как ловко орудует свайкой отец. И неведомо ей было, что в голове у отца, у Макара Алутина, роились в то время далеко не веселые мысли. Вот он сидит в тепле, под своей крышей, плетет дочери лапти, другую небольшую работу делает — ее зимой в деревне не ахти много, — спит на мягкой лежанке, а его бывшие товарищи-бойцы, те, кому не посчастливилось выбраться из плена, где они сейчас томятся? Десять дней пробыл Макар в лагере, насмотрелся на немецкие порядки. За людей не считали фашисты русских пленных. Убивали ни за что. Собаками травили...

По спине у Макара пробегали мурашки.

Как быть? На второй же день после возвращения он обговаривал с Егором всякие планы. Сошлись на одном: надо пробраться к своим, за линию фронта. Но как? Фронт сейчас, слышно, возле самой Москвы, за пятьсот километров. Пока дойдешь — сто раз немцы могут схватить.

Может, податься к партизанам? А где они, партизаны? Лесов поблизости нет — не считать же отдельные рощицы лесом. Вот в Западной Белоруссии леса — это да (там Макар до войны служил). И день, и два можешь брести, нет лесам конца и края.

А что, если подпольщиков поискать? Работают ведь они где-то, вредят врагу. Не может быть, чтобы райко-

мы не оставляли на местах подпольщиков. «Вон когда мы отступали по Украине, — вспоминал Макар, — то догадывались, что в тылу обязательно оставались надежные, преданные Советской власти люди. Должны и у нас такие быть».

Только как найти этих людей? Где отыскать связного?

Были коммунисты в округе — теперь нет. Одни на фронте, других немцы казнили. В том числе и родственника Макара, хромого Андрея из Нижнемалинова. Вот и делай что хочешь...

Не было в душе покоя. Исподволь, незаметно разьедала ее ржавчина вины перед теми, кто воевал сейчас, несмотря на лютые морозы и сумасшедшие снега.

В январе сорок второго объявился Родион, двоюродный брат Макара. Вышел из окружения.

Его рота после долгих боев была почти полностью уничтожена.

Родион — человек рассудительный, дальновидный. При всяких сложностях Макар неизменно с ним советовался. И ни разу совет Родиона не был пустым, зряшным.

Макар явился к нему со своими сомнениями. Все изложил, о чем думал днем и ночью, яро куря злющий табак-самосад.

— Что, братка, будем делать?

Родион не торопился с ответом, долго обмозговывал дело, перебинтовывая свои обмороженные ноги. Затем сказал:

— Вы уже маленькя отдохнули, дайте и мне отдохнуть. Что-нибудь, можа, придумаю.

Через неделю примерно опять затеял Макар разговор о наболевшем.

— Надо действовать. Меня вон анадьсь в комендатуру вызывали. Знаешь, что предлагают? Итить в старосты. Во! Это я, вчерашний колхозный бригадир, —

староста! Конечное дело, я отказался, а меня начали припугивать. Надо, братка, уходить...

— Все нужно взвесить, — осторожничал Родион. — Как бы второпях дров не наломать. Немцев, слышно, бьют под Москвой. Значит, скоро наши вернутся. К ним и присоединимся... Иного пока ничего в голову не приходить.

К удивлению Макара, комендатура его больше не тревожила: нашелся в старосты доброволец, шестидесятилетний старик Дородных из Болотного. Как узнал об этом Макар — перекрестился:

— Пронесла нелегкая... Завтра же начну искать связь с подпольщиками...

Ждали в деревнях возвращения Красной Армии сначала к весне, потом — к лету. А осенью поползли слухи про Сталинград, где, дескать, идут страшные бои. Все чаще поговаривали, что стеной наши стоят у Сталинграда, насмерть. Вроде бы клич у наших бойцов появился: за Волгой для Красной Армии земли нет...

Лишь зимой сорок третьего года пришло желанное освобождение. И двадцать первого февраля, это Даша точно помнила, второй раз вместе с матерью проводила она своего отца на долгую войну. До самого райцентра, до Понырей, шли жены и старшие дети за мобилизованными. Шла и Даша. Многие бабы голосили, чуть ли не предвещая гибель своим мужикам: «Ох, да навсегда разлучаить нас поганый враг-злодей. Да на кого ж вы, мужики наши, оставляете детей-сиротинушек?»

Даша бежала рядом с колонной, в которой шел отец, слезы душили ее, но она невероятным усилием сдерживала их, как и тогда, в июле сорок первого, и даже успокаивала мать: «Не плачь. Ты думаешь, легче отцу от твоих слез? Вернется он. Вот увидишь — вернется».

Макар поворачивал голову в сторону жены и дочери, будто слыша Дашины слова, подмигивал: все, мол,

обойдется, живы будем — не помрем. И давал знак рукой: возвращайтесь, дескать, уморились уже.

По другую сторону колонны шла тетка Ксюша. Митька тоже был с ней, но на каком-то километре Даша заметила, что он повернул обратно. Нет, она не осуждала его — число провожавших постепенно уменьшалось. Просто удивилась: неужели Митька устал? Она, девчонка, и то выносливее оказалась.

Было жарко от ходьбы по сыпучему снегу. Его в том году выпало много. Всю зиму немцы выгоняли трудоспособное население на расчистку дорог. Особенно перед отступлением усердствовали. Злые были, как черти. С утра до темноты заставляли работать. Боялись нена роком застрять. Только все равно застревали. Даша сама это видела. Она накануне их бегства ночевала в Нижнемалинове у тети Зины, а когда утром явилась в школу, где собирали работающих (карасевские поблизости расчищали дорогу), то от сторожа узнала, что с немецкой властью покончено.

— Правда?

— Какой мне, дочка, смысл брехать на старости лет?

И Даша пулей выскочила на улицу.

— Ура-а!.. — подбросила она вверх лопату.

По дороге домой, у поворота в деревню Становое, Даша и увидела отступающих. Немцы ехали на санях и машинах. Одна машина — с белыми буквами «OST» на борту — застряла в кювете, вытащить ее, должно, не было никакой возможности, да и торопиться надо было, и фашисты, подхватив свои вещички, подожгли грузовик.

Многие везли награбленные вещи на салазках, отобранных у крестьян, или просто тащили тугие узлы на спинах.

«Улепетываете, собаки! — радовалась, блестя глазами, Даша. — Ничего, далеко не уйдете. Настигнут вас русские пули! Обязательно настигнут!..»

Даше сейчас казалось, что вот эта колонна карасевских, болотнинских, михеевских мужиков и будет преследовать тех немцев, что отступали в сторону Станового. И отец ее мстить будет! Многих постреляет, а сам жить останется!

МИТЬКА

Митька шел и думал о своем.

Вот о чем.

За что ему выпало сегодня наказание: и ранний подъем, и эта бесконечная дорога по жаре? Котомка становилась все тяжелее и тяжелее — перед Подолянью, может, пуд будет весить. И он обязан ее тащить. А в котомке — передача и подштанники. Отцу. Тому самому, которого прошлой весной, в мае, когда отец приходил домой за сапожным инструментом, Митька хотел убить. Да, да, самым настоящим образом убить. Молотком или топором, который лежит в сенцах за дверью.

И причина тому была, на Митькин взгляд, веская.

Во время семейных ссор мать не раз попрекала отца Таиской Чукановой. Жила у них в деревне такая соломенная вдова. Ютилась она в маленькой — в два окошка — хатенке, что стояла не на самой улице, как все хаты, а на огороде, за садом. Хатенка эта досталась Таиске Чукановой по наследству от одинокой старухи. Таиска перешла к ней жить после того, как была выгнана мужем за откровенную неверность — еще до войны.

Подрастал Митька и начинал кое-что понимать в семейных отношениях. И не только в семейных, а в человеческих вообще. Начинал кое в чем разбираться. Например, он уяснил, что будет великим грехом, если молодушка родит раньше девяти месяцев после свадьбы, если кто-то рождает без мужа, если муж тайно, крадучись, как мартовский кот, убегает на полночи неизвестно куда от своей жены и семьи.

И чем глубже осмысливал Митька все это, тем чаще задавал себе вопрос: «А нужен ли нам отец вообще? Он у нас ведь тоже похож на мартовского кота».

Жалея мать, Митька говорил ей иногда в лицо: «Как ты можешь терпеть его? Давай прогоним — и никаких!»

Ксения скрещивала руки на отвисшем животе, спокойно отвечала: «Куда ж мы, дурачок, его прогоним? Какой-никакой, а отец он. Не из дома, а в дом нести. А что люди болтають... Можя, и зря болтають... Нихто ведь не захватывал отца у этой Таиски».

И крохотный лучик надежды на то, что разговоры про отца — напраслина, потихоньку растапливал лед в Митькиной душе. До следующего концерта отца, когда он, подвыпивший, заявлялся под утро домой и начинал выступать: «Вы, так-растак, моего ногтя не стоите! Вы на руках должны меня носить!.. Ксень, целуй мне сапоги, а то выгоню из дома!»

Но трезвел — и становился человеком. Умельцем: и портным, и сапожником, и плотником.

Терпеливая Ксения все прощала ему — ради семьи же.

А в мае Митька хотел отца убить.

Как вышло?

Однажды под вечер мать усхотилась сажать огурцы. Принесла ведро воды на грядку, семена. Хватилась — а граблей дома нет. Железных, которыми грядки скородят. Митька на глаза попался.

— Мить, где наши грабли?

— Какие? Железные? А их тетка Варвара вчерась взяла.

— Сбегай, сынок, принеси.

Принести грабли — работа пустячная, не огород копать. Тем более, что тетка Варвара через три хаты жила.

И Митька, изобразив из себя необъезженного жеребчика, вскачь понесся к тетке Варваре. Застал ее сидящей на крыльце.

— Тё, вам грабли уже не нужны?

Тетка Варвара всплеснула руками.

— Грабли? Вот напасть! Их у меня утром Таиска взяла. Погоди тут, я к ней схожу.

У Митьки никакой охоты не было стоять и ожидать. И он сказал:

— Ладно, я сам сбегаяю.

И поскакал к Таиске.

Промчавшись через пустой сад, Митька оказался у дверей хатенки Таиски Чукановой. Он с ходу повернул щеколду и смело вошел в сенцы, открыл дверь в хату.

И опешил. За столом сидел военный, как две капли похожий на... его отца. Только был он без чуба (впрочем, мать, навестившая отца в Прилепах, говорила, что отец подстрижен «под нуль»). И в форме этот был (а мать рассказывала, что отец и другие мужики пока в своей одежде). Впрочем, могли уже и обмундировать: месяц прошел, как мать наведывалась к отцу.

Митька стоял на пороге и не мог произнести ни слова — от удивления.

А военный, утерев рот тыльной стороной ладони, возьми да усмехнись:

— Что, Митька, не узнаешь?

Отцов голос! Отец перед ним, значит! Только почему он не домой пришел, а к этой блудливой Таиске?

Кровь ударила в лицо Митьке — кровь обиды и гнева. Выходит, верно говорили на деревне про отцовы похождения! Значит, справедливо мать упрекала его, хотя порой, чтоб оградить детей от нехороших слухов, и спохватывалась: «Можа, люди зря болтають...»

Митька рванул из хаты. Отец мгновенно выскочил из-за стола и кинулся за сыном. В темных сенцах Митька не сразу нащупал щеколду, и тут отец схватил его за плечи.

— Стой!

Митька сжался, как зверек:

— Пусти!

Отец, часто дыша, расслабил пальцы. Прижал дверь ногой, чтобы Митька не сбежал.

— Слушай меня, — заговорил прерывисто отец. От него пахло самогонкой. — Слушай меня. Я тут оказался случайно. Шел огородами, ну и... зашел попить. Попил и присел на минутку. А тут и ты явился. — Родион немножко успокоился. — Слушай, сын. Ты зачем прибежал? Выследил меня? Да? — Митька молчал: «Тяжело и поверил: в двух шагах от дома пить захотел». — Вот что, сын, — уже ласково говорил отец, — ты молодец, что выследил, в разведчики годишься. Толька — как мужик мужику: что видел здесь меня — молчок. Почему — потом объясню. И зажигалку дам — понял? Если смолчишь.

Митька попробовал открыть дверь — не получилось. Отец не отпускал ногу.

Митька вдруг заплакал. От беспомощности ли, а может, все от той же обиды.

— Примись, — попытался он оттолкнуть отца.

— Митька, — изменил отец ласковый голос на строгий, — ты меня не видел, понял? Иначе пеняй на себя.

И сам помог сыну открыть дверь.

Митька выскочил, как ошпаренный, и кинулся не к дому, а за огороды, к речушке, что опоясывала полукругом Карасевку. Бежал по вскопанным огородам, утопая по щиколотку в земле. Глаза застилала слезы, и он их размазывал по щекам грязными кулаками.

Потом он бежал по колхозному полю между огородами и речушкой. Поле было вспахано недавно, разрыхлено плохо, и Митька спотыкался о комья.

К речке он добрался обессиленным. Выбрал на берегу сухое местечко; сел, положил руки на колени.

Уже опускались тяжелые сумерки, становилось зябко.

Что делать? Может, нырнуть в эту холодную воду,

медленно текущую в двух шагах? Отомстить отцу за измену. Он догадается, что это из-за него, из-за отца, утопился Митька. Пусть же совесть мучит его всю жизнь!

Боязно топиться, страшно: вода черная и холодная. Да и чего ради Митька умирать будет? Он, что ли, семью предал? Отец предал, отец должен и отвечать. И Митька совершит правый суд над ним! Сейчас он вернется домой и убьет отца. Да, да, убьет! Возьмет топор или молоток — что под руки попадется — и, ни слова не говоря, замахнется. Он смелый, хоть и драться не любит. И свою смелость он докажет сегодня. Сейчас...

Что — отвечать придется? Ответит — не испугается. Только ведь и оправдать могут, если он все про отца расскажет. И, в первую очередь, про то, как он застал его у Таиски.

Митька встал, высморкался и с суровым лицом побрел домой.

Пока он брел, злость помаленьку проходила. К тому же становилось жалко мать. Вдруг за убийство не оправдают, а посадят его, Митьку, в тюрьму. Как тогда она с четырьмя детьми справится? Мать хоть и ворчит на него иногда: никакой помощи-де от тебя не вижу, — а соседкам, Митьке это известно, нахваливала его: ворчун малый, вредный, да исполнительный. Но любит, чтобы его попросили. Усмехнулся: «Тут мать права, выкобениваться я мастер».

Ладно, отца он оставит в живых. И даже не разболтает про то, как сегодня прихватил его у Таиски Чукановой. Но отношение к отцу он теперь изменит — это уж как пить дать.

Домой вернулся он затемно. В хате бледно светились окна — над столом горела коптилка. Перед тем как открыть дверь, Митька остановился на несколько секунд у окна. И увидел: на конике сидит улыбающийся отец,

он что-то рассказывает веселое или забавное; и вся семья с наслаждением слушает эти рассказы. Только его, Митьки, нет.

Споткнувшись в сенях о лежавший под дверью топор, он медленно ввалился в хату.

ФРОСЯ

Фрося услышала почти обессиленный Дашин голос: — Тё, пить ужасно хочу.

У церковной ограды, в тени высоких раkit и тополей, на которых возле своих расхристанных гнезд безумолчно каркали вороны, она остановилась. «Я и сама не против перехватить глоток-другой холоднячка, — подумала Фрося, — в горле пересохло». И сняла со спины уже нагрешуюся на солнце котомку, прислонила ее к ограде:

— Ставьте тут.

Вместе с Дашей она направилась в ближайшую хату — через дорогу, а Митька остался сторожить котомки.

Фрося первой ступила на низкое крыльцо, открыла дверь в сенцы.

— Есть тут кто? — спросила она темноту.

Ни звука.

Прошли в сенцы, Фрося с трудом нащупала ручку двери, что вела в хату. Ручка была прибита слишком низко.

В хате, несмотря на солнечный день, стоял полумрак: висела густая пыль, и солнечные лучи, едва пробивавшиеся сквозь нее, казались осязаемыми.

— Здравствуйте вам.

— Здоровы были.

Из полумрака возникла согнутая подковой старуха, с веником из свежей полыни в руках, — она подметала земляной пол.

Старуха присела на лавку у стола, освободила из-под платка ухо, приготовилась слушать.

— Нам бы попить.

— Что? Попить? Да пейте — жалко, что ль, воды?

Возле печки, на шаткой табуретке, стояло цинковое, давно не чищенное ведро, накрытое квадратной дощечкой. Фрося взяла с дощечки легкую алюминиевую кружку, зачерпнула воды. Выпила два глотка, сполоснула горло и передала кружку Даше.

— Пей.

Даша зачерпнула полную кружку. Вода была теплая, но вкусная, мягче их, карасевской, что вдобавок пахнет еще и железной рудой.

Даша, не отрываясь, выпила целую кружку.

— Спасибо.

Старуха покивала головой.

— На здоровье, деточки. — Заглянула Фросе в лицо: — Далёко идете?

— В белый свет, — ответила Фрося.

— Далёко?

— В Подолянь. Слыхала?

— Слыхала, а как же? Мой покойный дед был оттудова... К своим идете?

— К своим.

— Нынче много народу в те края ходить. — И — шепотом: — Скоро, говорят, наступление начнется. — Старуха облокотилась на стол. — Скорей бы ету немчурю побили. Двух сынов моих, искариоты... — Она подняла к глазам замасленный фартук, вытерла глаза. — Под етим, под Сталинградом...

Фрося поняла, что если они еще хоть минуту побудут здесь, то старуха вконец расстроится, и она потянула Дашу за рукав:

— Идем. — Потом — старухе: — Прощай, бабушка!

— Спаси вас господь... На обратном пути-то заходите, невестку с детьми увидите... Счас они на поле...

Когда они вернулись к своим котомкам, Митька, при-слонив ладонь ко лбу, смотрел в синее высокое июнь-ское небо.

— Что там? — поинтересовалась Фрося.

— Наш и ихний, — не отрывая глаз от неба, ответил он.

Даша, воспользовавшись тем, что Митька смотрел вверх, быстро сняла чулки, державшиеся на тугих ре-зинках, завязала ходаки на голых теперь ногах и успела отыскать в небе два самолета. Самолеты — небольшие серые точки, неизвестно, какой наш, какой немецкий, — в самой вышине то гонялись друг за другом, то, когда один успевал неожиданно резко сделать поворот, схо-дились.

— Над станцией, — предположила Фрося (это в трех километрах от Карасевки).

— Ближе, — не согласился Митька, — в конце Ниж-немалинова.

Вдруг над одним самолетом вспыхнул черный факел.

— Нашего, — выдохнул с горечью Митька.

— Откуда ты знаешь? — не согласилась Даша.

— Оттуда. Разве «мессера» не узнаешь — тонкий и длинный?

Горящий самолет, переворачиваясь, падал к гори-зонту. Вот его черный хвост коснулся земли, и наступи-ла — на несколько секунд — зловещая тишина. И только потом донеслось глухое эхо взрыва.

У Фроси сжалось сердце. Вроде бы затишье кру-гом — с самой зимы. Немцы — там, наши — тут. Но вой-на, оказывается, не прекращается. Ни на день, ни на час. Просто наступила непонятная передышка.

Передышка? Какая же это передышка, раз идут бои, гибнут люди?

А старуха еще про скорое наступление сказала. Зна-чит, нужно ждать бóльших боев и бóльших смертей...

Что творится на белом свете!

Но здесь, у церкви, пока что стояла тишина, мирно светило солнце, порхали бабочки. И только вороний грай над деревьями нарушал эту тишину.

Можно было продолжать путь.

МИТЬКА

Фрося сказала Митьке:

— Иди попей, можа, потом негде будить.

Митька же метнулся к своей котомке, выхватил из нее белый сверток, протянул его Даше:

— Передай отцу.

— Что это?

— Подштанники. Передай, я дальше с вами не пойду.

Между ними встала Фрося.

— Иди пей.

— Не хочу.

— Тогда, милый, бери котомку — тронулись.

Митька уронил голову.

— Не могу, тетя Фрось.

— Отчего? — Фрося подозрительно сузила глубокие черные глаза.

— Да так... Есть причина...

Почти всю дорогу до церкви Митька обдумывал, что бы такое предпринять, дабы вернуться. Может, стеклом ногу порезать? Не таким он отчаянным уродился, не хватит воли. Тогда... «О, попробую натереть докрасна плечи! Скажу — лямки режут, устал и голова кружится, — сиял, радуясь спасительной идее, Митька. — Только чем натереть? Травой какой-нибудь? Репьями? Во! Зелеными репьями! И не больно, и репы рядом — вон их возле ограды сколько!»

Так Митька и сделал, пока Фрося с Дашей пить ходил. Натер плечи докрасна, одно плечо даже поцарапал маленько.

Теперь-то он вернется домой! Дашу попросит передать отцу подштанники, а сам вернется. Пусть мать хоть как его ругает, но, скажет он... Вместо «но» Митька расстегнет рубаху и покажет красные полосы (перед Карасевкой он плечи еще раз натрет).

Не больно-то хотел Митька видеть отца. В тот раз отец приходил за сапожным инструментом. Командир батальона тогда его отпускал. Узнал о способностях отца и немедленно отправил его за инструментом: у многих бойцов сапоги да ботинки совсем износились, требовали ремонта.

А отец, не долго думая, — к Таиске Чукановой. Пить, видите ли, захотел. Обманывал бы, да похитрее.

Нет, ни капельки не хочет видеть Митька отца!

Но Фрося не отступала от него. Что за настырная женщина!

— Тяжело, милый? Ничего, зато отца повидаете. Вон у того летчика, что сбили, можа, сродственники есть поблизости, тоже не торопились проведать: еще-де свидимся. Вот и свиделись... Теперь всю жизнь будут проклинать себя: «Ах, нужно было сходить...» Гляди, Митька, как бы и тебе так не пришлось... — Она вздохнула. — Тебе, милый, с Дашкой должно быть легче: вы точно знаете, что отцы в Подоляни. А я искать еще буду. Можа, и не найду. А иду вот, детей без присмотра оставила, иду...

Осуждала Митьку и Даша. Про себя, правда: «Хорош гусь, нечего сказать! А еще родней приходится, фамилию одинаковую носит, а позорит весь алутинский род. А мне легко, что ли? Прошли всего ничего, а поясница уже болит. Но я не стану ныть, хоть и девчонка. Митька же слабак и трус, каких в роду у нас никогда не водилось! И неужели мне об этом говорить дяде Родиону? Неужели рассказывать, как Митька с полдороги вернулся? Каково же будет ему это слышать? Вон у других, подумает, дети как дети. А мой Митька —

обалдуй, он даже передачу на фронт не донес... А в деревне тете Ксюше стыдно будет на люди показываться. Вот это, скажут, вырастила сына! Ну ладно, скажут, попивал иногда Родион, матючка подпускал, но ведь он при всем при том отец все-таки. По миру семью не пустил, дети голодные-холодные не были.

Митька переминался с ноги на ногу, хмуро глядя на Дашу: ты-то, мол, что еще шепчешь? Переплела бы лучше свои свиные хвостики — растрепались вон.

Фрося, закинув за плечи котомку, выжидала последние секунды.

— Ну? — сурово взглянула она на Митьку.

— Ми-итя, ну пойте-ем... — жалостливо пропела Даша: может, думала, такие уговоры на него подействуют.

И Митька не выдержал. Он рванул пуговицы рубахи и обнажил плечо («Я вам докажу, что я не слабак!»):

— Видите?

Даша испуганно ойкнула, заметив красноту на плече. Митька ободрился: обман, похоже, удался.

— Лямками натер?

— А чем же? Теперь — передашь? — пошел Митька в наступление и снова протянул Даше белый сверток.

Фрося сняла свою котомку, на ее худом лице погасла вспышка гнева.

— Ну, милый, — обратилась она к Митьке, — чего ж ты терпел столько? Давно можно было что и подложить...

— Терпел, пока мог.

— Понятно — втянулся. Ладно, — решительно сказала Фрося, — можешь вертаться. Я все Родиону объясню. Толька послушай, милый, мой совет материнский: наберись терпения и иди с нами. Не столько твоему отцу передача да подштанники, можа, нужны, сколько семейное уважение. Ему ить и воевать тогда в сто раз легче будить... А веревки... Мы их обмотаем счас, перестануть тереть... Даш, давай, милая, косынку...

Пока Даша развязывала косынку, Фрося уже сняла свою, черную.

Даша глядела на простоволосую Фросю. Волосы у нее, оказывается, с частой проседью («У матери еще седин нет»); уложенная на затылке недлинная коса похожа на... кукиш; лицо загорелое, а часть лба и шея, спрятанные обычно от солнца, теперь разительно выделялись. Странной и совсем чужой выглядела Фрося без косынки.

И тут Дашу осенило:

— Не надо, тѐ, косынками! Чулками давайте обвяжем. В них жарко, я и сняла.

Фрося прикинула что-то в уме и согласилась с Дашей.

— Дело. А то головы солнце напекетъ.

Митька стоял с открытым ртом. Поначалу он обрадовался: и Дашу, и Фросю разжалобил, и они не осудили его за малодушие. Но Фрося... Всю обедню испортила! Додумалась же — лямки обвязывать, теперь вот Дашка со своими чулками объявилась. Выскочка со свиными хвостиками!

Фрося обмотала Дашиными чулками веревки-лямки, приподняла Митькину котомку.

— Давай, милый, помогу... Чтоб потом не рвал волосы на голове — пойдем.

«Выкрутиться не удастся, — невесело подумал Митька, — придется идти. А волосы бы я рвать не стал, ошибаешься, тетя Фрося. Не все ты знаешь про мое отношение к отцу...»

Он молча засунул в котомку подштанники — с той стороны, что прилежала к спине.

Даша обрадованно шепнула Митьке:

— Молодец, что не сдрейфил. Мне тоже не легче, а терплю.

Но он не разделял ее радости.

ДАША

Дорогу на Ольховатку, что находилась по пути в Подолянь, им показала старуха, у которой Даша и Фрося пили воду. Она как раз вышла на крылечко, когда трое карасевских закинули за спины котомки.

— Спуститесь в лощину, вот сюда, а там направо по большаку. Спаси вас господь.

— Благодарствуйте, бабушка.

И снова они выстроились по ранжиру: Фрося, Даша, Митька. Еще не вышли за деревню, а Даше опять захотелось пить. Но теперь она решила терпеть, сколько сил хватит, не вынуждать остальных делать из-за нее остановки. «Попытаюсь забыться—и пить перехочется»,— сказала она сама себе, хотя мысли теперь, наоборот, роились вокруг воды. Трудно все-таки летом. То ли дело было в апреле, когда Даша ходила к отцу в Прилепы вместе с Митькиной матерью, тетей Ксюшей. Нелегкой тогда была дорога, но зато пить не хотелось. Погода стояла сырая, промозглая, еще снег не везде сошел. А только вот эта жарынь, вот это солнце, что слепит, печет голову, не лучше той сырости и промозглости.

Дашина мать, Маруся Макариха, как звали ее в деревне, слыла женщиной оборотистой, хозяйственной, строгой. Все дети у нее всегда были вымыты, чисто одеты, накормлены-напоены. Ни на кого из них она никогда не повышала голоса, а слушались они ее с первого слова. Макара держала в руках, но знала при этом меру—сосбражала, что мужики не любят, когда жены пилят их бесконечно по мелочам-пустякам, что взорваться однажды могут и тогда пиши пропало. Или драться начнут, или водку глушить.

Маруся поступала со своим Макаром всегда по-хорошему. Если иногда случалось, что приходил он домой навеселе, она не устраивала ему тут же нахлобучку

(с пьяным — какой разговор?). Маруся обходительно помогала Макару раздеться, укладывала его на лежанку. Макар побурчит-побурчит — и уснет.

А утром Маруся ненароком скажет: «И не совестно было перед детьми?» Макар опускал больную голову, признавался: «Вчера не совестно, а нынче — да. Прости уж...»

И по-прежнему в доме лад и согласие. И опять Маруся — горой за своего Макара. Пусть попробует кто из баб или мужиков плохо о нем отозваться — она в лепешку расшибется, а докажет, что он у нее самый лучший муж и отец. Спросите, добавит, у детей, они еще враг не умеют.

И вот когда через полтора месяца после второй мобилизации пришло известие, что Макар и Родион находятся за Понырями, в Прилепах, Маруся забеспокоилась:

— Нам бог не простить, если не проведем мужиков.

Сказала она так Ксении, как о деле решенном. И — чуть не приказным тоном:

— Готовься.

Ксения же кивнула на Марусин живот:

— Куда тебя с пузом понесет?

— Ничего. Я до самых родов всегда работаю, сама знаешь.

Стали готовиться. Только Ксения при каждой встрече отговаривала Марусю:

— Побережи себя и ребенка. Нехай Дашка идет со мной.

Маруся — ни в какую.

— Макар обидится.

— Да разя он не поймет?

Помогла Ксении Варвара, соседка Марусина.

— В ближний свет итить! — накинулась она на Марусю. — Случится что в дороге — кто поможет? А у тебя пятеро их вон, осиротить захотела?

— Да, да, мамка, я лучше пойду! — подхватила Даша, присутствовавшая при разговоре.

И Маруся сдалась. Только стала теперь думать, что бы Макару такое передать, чтобы обрадовать его. Больше всего он любит холодец. Да из чего его сделаешь? Мяса ни купить не у кого, ни занять до осени, когда теленка можно будет зарезать.

И придумала! Не зря говорят: голь на выдумку хитра. Не мяса она заняла, а две бутылки самогона. У той же соседки Варвары. И с этими бутылками — к армейскому интенданту.

— У вас, слышала, вчераь корову для солдат зарезали, продайте шкуру.

— Это как — «продайте»? — Вздернул тот удивленно брови. — Мы найдем, куда шкуру использовать.

— Ради Христа прошу, — не отставала Маруся.

— А если меня за это под трибунал?

— Никто не узнать, не увидить.

— Ох и хитры вы, бабы! Да и на кой ляд мне ваши деньги?

— А у меня не деньги, — прижимала бутылки под полами полсака Маруся.

Интендант догадался.

— Это — вещь. За это — можно...

Дома Маруся осмолила шкуру, вычистила ее и наварила ведерный чугун холодца. В первую очередь налила холодец в две глубокие миски — для Макара и Родиона. Вынесла его сразу же в погреб: там прохладно, там он быстро застынет. Остальное — для себя, для эвакуированной из Подоляни семьи Шуры Петюковой (надо ж такому случиться, что Макар со временем окажется в той самой Подоляни!).

Назавтра с болью в сердце Маруся провожала Дашу: «Мне ведь самой так хочется с Макаром свидеться! Соскучилась по нему уже... И надо ж было забеременеть!..»

Была середина апреля, половодье уже отбушевало, хотя солнце не успело еще растопить весь снег: его в эту зиму и впрямь выпало в рост человека, как никогда. В лесах да посадах, на северных склонах оврагов еще лежали толстые острова серого снега. Но на дорогах он растаял. Дороги почти всюду просохли от весенней грязи.

Даша и Ксения обули лапти. Хотела Даша новые надеть, перед зимой отцом сплетенные, но мать отговорила: «Форсить дома будешь, а в неблизкий путь нужна расхожая обувь, чтобы ноги не давила».

Стоял негустой туман, шли быстро. Холодец несли в узелках — миски были завернуты в старенькие, но хорошо выстиранные платки.

За станцией начинался Малый лес. Когда дорога нырнула в густой орешник, Даша приостановилась, чтобы выломать палку. Надумала она попробовать нести миску на плече, надев узелок на палку, — вдруг легче? И тут заметила в глубине зарослей труп. «Немец», — без труда определила она: шинель была зеленая.

— Теть Ксюш! — отскочила Даша от трупа.

Ксения испуганно вздохнула: ай зверь какой в кустах?

— Ты чего?

— Н-немец, — дрожала Даша.

— Где?

— Там, — показала Даша в орешник. — Мертвый.

— Фу!.. А я уж черт-те что подумала. Вытаял, поди...

Чем ближе подходили к передовой, тем чаще попадались им следы февральских боев. В полях виднелись искореженные танки, машины, пушки — немецкие и наши. Но больше было немецких.

В лесу за деревенькой Брусовое они набрали сразу на три трупа — рядом лежали обгоревшие женщина и девочка с мальчиком пяти-шести лет. Видно, ее дети.

Даша, не желая того, остановилась, скрестила на

груди руки. Да что же это делается, люди добрые? Понятно, когда солдаты погибают, — на то война. А тут — мирные жители. И дети еще. Неужели и ей, Даше, и семье ее, и всей Карасевке, и всей стране война уготовит вот такой конец?

Нет, нет и нет! Ей хочется жить. И потому она скажет отцу: «Воюй, папка, за нас храбро, не дай врагу надругаться над нами».

И отец, она уверена, не устрасится самого грозного боя. Он у нее молодец. Даже во время оккупации не испугался немцев. Несмотря на их грозные приказы, связался-таки с подпольщиками (Даша обо всем догадывалась). Подозревала, с какой целью он исчезал иногда из дома на неделю и больше.

Все чаще встречались сожженные хаты. В Прилепах через одну-две хаты торчали печальные трубы печей. А там, где стояли риги, сараи, пуньки, вообще никаких следов не было. Только черные выгоревшие квадраты земли.

Ксения шла и все приговаривала:

— Вот нашей-то деревне повезло: ни одной хаты не тронули. А тут — гля-кося, что наделано. Где ж это люди жить будут?

— А их же всех эвакуировали, — сказала Даша.

— Это я знаю. А где они после войны жить будут? Вот Гитлер, погибели на него нетути, что наделал.

В Прилепы заявили под самый вечер. Долго искали своих. Не знали ни номера полевой почты, ни части, где служили Макар и Родион, а нашли. В одном штабе побывали, в другом, а в третьем Дашу и Ксению обрадовали:

— Алутины? Есть такие. Сейчас позовем.

Их поместили в одну из уцелевших хат. Даше непривычно было видеть отца постриженным наголо. Он не походил на себя, голова его была в каких-то буграх и шишках, со множеством белых шрамов.

— Пап, — осмелилась она спросить, когда отец, сняв шапку, начал есть холодец, — а это у тебя откуда?

— Что?

— Шрамы.

— Это в молодости. Сошлись мы однажды деревня на деревню.

Родион и Ксения сидели напротив за голым деревянным столом. Родион не с холодца начал, а с вареных яиц. Не спеша очистил одно — жене, теперь себе чистил.

— Ксень, а этого не прихватила? — подмигнул Родион жене.

— А как же, — повеселела Ксения: она долго ждала, когда Родион спросит.

— Ну и баба у меня! Подожди-ка, Макар, есть, мы сейчас по стопочке.

И тут в хату заглянул командир роты лейтенант Киселев. Молодой, но строгий, с Урала сам. До училища, говорят, мастером на пушечном заводе работал.

— Устроились? — спросил Киселев с порога Ксению, которая на всякий случай прятала бутылку в сумку: кто знает, что у этого лейтенанта на уме.

— Устроилась, сынок, спасибо.

Родион и Макар при появлении лейтенанта встали и теперь гадали: войдет он или не войдет?

«Может, стесняется?» — предположил Родион.

— Заходи, Сашк! — дружески пригласил Родион (он считал, что имеет небольшое право на подобное панибратство после того, как на днях починил лейтенанту сапог).

Но Киселев неподкупно блеснул глазами:

— Я тебе дам «Сашк»! Смотри у меня!

И резко закрыл дверь с обратной стороны — чуть не погасла от волны воздуха висевшая над столом копилка из гильзы.

Мужики — они еще не были обмундированы — налили в кружки. Чокнулись.

— Побудем живы.

Выпила чуток и Ксения. Даша отказалась: она не выносила запаха бурачихи.

Вошли еще пять-шесть солдат — с подсумками, с винтовками. Коротко переговариваясь, стелили на пол, на приступок принесенную из сенец солому.

Родион пригласил их к столу:

— По капельке, ребята. Жена вот... принесла...

Угостившись, солдаты улеглись и вскоре захрапывали.

Макар постелил себе, Даше и Родиону с Ксенией возле стенки, поближе к печи. Но спать они пока не легли. Родион с женой вышел покурить на улицу, Макар вернулся за стол, принялся расспрашивать Дашу про мать, про детей, про новости деревенские.

— Как дошли?

— Хорошо. Только мертвые попадались.

— Их сейчас, после снега, много, — согласился отец. — Ноги не промочила?

«Сознаться или не сознаться? — пронеслось в голове у Даши. — Нет, — решила, — сознаюсь, а то, чего доброго, обратно не дойду».

— Один лапоть протерся. На пятке.

Макар махнул рукой:

— Снимай.

Даша развязала прохудившийся лапоть.

— И другой снимай. В печку просушиться положу.

Он достал из подсумка складной ножичек, с которым никогда не расставался (из Западной Белоруссии в тридцать девятом привез). В подсумке же обнаружился моточек тонких веревок — на всякий случай насучил из попавшегося однажды на глаза снопика конопли.

— Ты, Даш, ложись, отдохни, а я подлатаю.

Даша и впрямь в дороге устала, ноги гудели, подламывались в коленях, и она не заставила себя долго упрашивать.

В хате на лавке лежали чьи-то фуфайки, и одной из них Макар укрыл дочь.

— Ты, Даш, передай матери, что скоро нас обмундируют... Будем как все... И возможно, нас на новое место перебросят. Так что сюда уже не приходи.

Даша хотела сказать: «Хорошо, папка, хорошо. Я обязательно передам все матери», — но только подумала так и провалилась в беспмятный сон — с улыбкой на губах.

ФРОСЯ

Время от времени Фрося шоркала сандалиями о дорожку. «Начала умариваться», — подумала с горестью, чувствуя усталость в ногах. Котомка теперь казалась вдвое тяжелей, чем утром.

Митька плелся сзади. Покряхтывал, постанывал, но плелся.

Фрося боялась обернуться: вдруг он опять начнет проситься домой.

Шли полем. Насколько видел глаз — простирались зеленые холмы. В обычные годы в эту пору тут колосились рожь, пшеница или ячмень, и тогда холмы казались светло-желтым морем. А ныне из прифронтовых деревень — еще весной — эвакуировали всех жителей, и поля остались незасеянными. Здесь теперь роскошно росли сорняки: никто им не мешал, никто их не тревожил.

Теплый воздух волнами переливался над печальной стеной осота, молочая, щира, повилики и прочей дурнины. И запахи-то дурные были от этой травы — удушливые.

Фрося приостановилась на секунду, пошла рядом с Дашей.

— Не решили еще, как ребеночка назвать? — спросила.

Утомили ее молчание и однообразие дороги. К тому же за разговором можно и мысли об усталости прогнать.

Даша смочила языком сохшиеся губы и с готовностью ответила:

— Если девочка будить — Таней, в честь бабушки. А если мальчик — отец просил, когда я у него в Прилепах была, назвать его Герасимом, в честь дедушки.

— Нынче уж это имя отошло, милая. Дразнить начнуть: «Гляньте, Гераська идет!»

— Я папке тоже говорила про это. Давай, говорю, Эдиком назовем. Или Аликом.

— А он?

— Сказал, что Эдик — это не по-крестьянски. А Алик... Зачем, сказал, Алик? Уж лучше тогда Алексеем.

— А мать что?

— Мать — за Павлика. У папки брата так звали. Рассказывают, его в гражданскую войну убили... Этот... Деникин... Нынче вот надо не забыть у папки спросить согласия на Павлика. Уж если не Эдиком, то пусть и не Герасимом.

— Я бы тоже Павликом назвала, случись еще когда родить, — стараясь повыше поднимать сандалии, сказала Фрося. — Красиво можно ребенка кликать: Павлуша, Пашечка, Пашунчик... У меня первого мужа Павликом звали...

И подумала неожиданно: «До чего же мне вновь родить охота — стыдно и признаться! Завидую я куме, Макарихе: она-то через месяц-полтора еще одним ребенком обзаведется. Мы ж с Егором, когда он из плена вернулся, не рискнули: хватало с Ольгой хлопот... Да и война...»

Слезы подступили к ее глазам, и, чтобы не заметила их Даша, она резко прибавила шаг и оставила ее позади.

ДАША

Никак она не могла догадаться, что это давит ей в спину. Махотка с маслом вроде бы уложена с внешней стороны котомки. Что еще? Баклажка с топленным молоком? Но ту, помнится, укладывали рядом с махоткой. Потом догадалась: бутылка с перваком тети Шуры Петюковой, их эвакуированной квартирантки. Даша теперь постоянно поправляла ляжку, приостанавливаясь, подкладывая руку под бутылку, повернувшуюся горлышком к спине.

— Ты чего? — спросила участливо Фрося.

— Давить.

— А почему молчишь?

Внизу ложины, в которую они спускались, росли кусты ивы, и Фрося свернула к ним. У самого густого куста она остановилась.

— Отдых. — И желанно свалила с плеч котомку. — Заодно и перекусим.

Даша, благодарная за тети Фросино решение (не знала она, что та тоже изрядно подустала), следом ссадила котомку.

На ходу снимал свою ношу и наособицу топавший босиком Митька.

Уже было близко к полудню. Солнце пекло во всю свою неисчислимую мощь, пот заливал глаза. К еде в такую жару не тянуло, но Даша понимала: чтобы сохранить силы, надо все же подкрепиться. К тому же ей по-прежнему хотелось пить, и сейчас можно утолить жажду.

Она достала лепешку, алюминиевую баклажку с молоком и стала есть. Под непроглядными кустами было немного прохладнее, и Даша ощутила нечто вроде блаженства. Сидела на зеленой мягкой траве, в которой ползали какие-то мошки и букашки, стрекотали кузнечики, но они не мешали ей вкусно есть и сладко при-

клебывать теплое топленое молоко. Наоборот, ей так хотелось вот сейчас, перекусив, отдохнуть на этой мягкой траве, наполненной безобидными букашками, полежать, глядя на тихое небо, угадывая, на что похоже вот это облако, на что — вот то, то... Немножечко бы отдохнуть, с полчаса. Ведь так гудят ноги, так одолевает жара — голова трещит.

Даша по-быстрому доела кусок ситной лепешки, спрятала баклажку и опрокинулась навзничь.

Хорошо!

Вон и Митька последовал ее примеру. Только он на бок улегся, подложив под голову согнутую руку.

Расслабленное тело казалось придавленным к земле, и никакими силами не поднять его, не потревожить.

Думала, прикрыв глаза: «Спасибо тете Фросе, что затеяла разговор про имя ребенку. А то бы я забыла у отца спросить, как новорожденного назвать. Про кумовьев-то мать не один раз повторяла: пусть отец скажет, кого в кумовья позвать. А вот про имя... Добро, что тетя Фрося напомнила...

Если у меня когда-нибудь родится сын, — продолжала думать Даша, — я все-таки назову его Эдиком. Никого у нас в деревне пока так не зовут. Сплошные Кольки, Васьки, Витьки... Да вот Митька еще... А Эдика — ни одного. А у меня будет. Я его обязательно воспитаю послушным. И некурящим. А то вот брат мой, Сережка, тринадцать лет, а смолит самосад пуще взрослого. Хрипит, как старый дед. Пальцы пожелтели. Это все папка виноват: не порол Сережку за курево. Сколько раз захватывал с папиросой — и ничего. Только стыдил: «Что ж ты, чертенок, делаешь — трависься с этих лет? Да на чердаке еще куришь, в пуньке. Спалишь ведь». А Сережка — хоть бы хны. По-прежнему крал у отца табак и курил по закоулкам. А ремня бы ему... Вот Митьку однажды отец застал с папиросой и так отходил, что он теперь запаха дыма боится... Нет, я своему

Эдику смальства скажу: табак — бяка. Особенно, скажу, когда подрастешь и на вечеринки начнешь ходить. Девки, они любят, если от ухажеров конфетами или пряниками пахнет, а не самосадам. По себе, мол, Эдик, знаю... А еще он будет у меня отличником. И после школы я отдам его в техникум. На агронома. Чтоб не сам пахал да косил, а только указывал. И чтоб люди к нему за советом ходили: «Как лучше гречиху сеять, товарищ Эдик, — по ржи или по гороху?» Или — весной: «Не пора ли пахать?» А Эдик подумает-подумает, заглянет в книжечку и ответит: «Через день-два, товарищи колхозники, можно». А я буду стоять в сторонке и любоваться. И пойдут по Карасевке разговоры: «Смотри, у Дашки-то Эдик — умница какой! Старики с ним советуются! Сказано — агроном!»

Размечталась Даша — дальше некуда. Живого-то агронома она видела всего один раз. Приезжал перед войной к ним в колхоз какой-то парень — в костюме, в сапогах хромовых, чуб из-под картуза выглядывал. Давал он всякие советы председателю, бригадирам и просто мужикам, собравшимся возле правления, как лучше, что лучше сеять на черноземных почвах. Слушали его мужики внимательно, о многом расспрашивали.

Детвора при этом вертелась меж взрослых, возле того агронома. И Даша там была, рядом с отцом стояла. Очень уж понравился ей этот агроном! И впервые для себя открыла она одну штуковину: оказывается, можно иметь дело с землей и при этом ходить в чистом костюме и хромовых сапогах. Именно тогда она решила: кончу школу — стану агрономом. На другой день, правда, усомнилась: а берут ли в агрономы девушек? Спросила учителя, тот ответил, что у нас в стране — равноправие. Слыхала, мол, про отважный экипаж самолета «Родина»? То-то же! А агрономом быть не труднее, чем летчиком. Учись только, Даша!

И Даша старалась. Многие ее одногодки свое обу-

чение закончили после четырех классов. А она да Катя Горбачева еще, подружка Дашина, в пятый класс пошли. Начальная школа была у них в Болотном — за три километра, а средняя — в два раза дальше, в Нижнемалинове. Далековато. Потому и редко кто из детей дальних деревень решался продолжать обучение. Шли, как водилось, получив начальное образование, в колхоз: в возчики, в прицепщики, на ферму.

Даша загорелась стать агрономом. Мать с отцом не перечили: а вдруг да что-нибудь получится? Тем более, что сами пока трудоспособные, им особой помощи по дому не требовалось.

И вот они с Катей пошли в пятый. Рано утром уходили, к вечеру возвращались. Туда — шесть, обратно — шесть, каждый день по двенадцать километров отмахивали. По погоде — ничего, сносно. А в грязь, в дождь, в пургу-метель, в морозы крещенские, когда с пути сбиться немудрено... Хватили девчата лиха, но школу не бросили. Приглашала Дашу жить к себе нижнемалиновская тетя, но она не согласилась: «Катка тогда одна будет ходить... Нехорошо подругу оставлять. Вот если в непогоду когда нас вдвоем переночевать оставите — на это согласна».

В шестом классе только сентябрь и октябрь проучилась. А там немцы нагрянули. И школа закрылась.

Не раз оплакивала Даша крушение своей мечты. И одна, и вдвоем с Каткой Горбачевой — та на фельдшерницу выучиться хотела. Проклинали на чем свет стоит фашистов, главаря ихнего — Гитлера, испортивших им молодую жизнь.

Теперь про то, чтобы учиться, и мысли нет. Выросла. Ей осенью шестнадцать исполнится, а она, что ли, — в шестой класс? Невеста — рядом с малышами! Засмеют. Нет, видимо, уж не судьба ей агрономом стать. Но вот сына Эдика она обязательно сделает агрономом. Будет это уже после войны, когда жизнь наладится...

ФРОСЯ

Вот и Фрося отобедала. Спрятала остатки еды, встала. Поглядела по сторонам, на солнце поглядела и строго сказала:

— Пора. За этим бугром Ольховатка должна быть.

Митька уже дремал. От Фросиного голоса он вздрогнул, вскочил, ничего спросонья несколько секунд не понимая:

— Что? Где?

— Ольховатка, милый, за бугром будет. Айдайте.

Жалко ей было поднимать Митьку с Дашей. Она и сама сейчас с огромным удовольствием вздремнула бы, да понимала: в Подоляни нужно быть завидно. Иначе сегодня не отыщут они своих, а ночевать под кустом придется. Или в поле, что еще хуже.

Фрося помогла Митьке поднять котомку. Даша справилась сама. У нее на лице Фрося заметила полуулыбку. «Радуетса предстоящей встрече с отцом». На самом же деле Даша прощалась с мечтаниями об Эдике.

— Тронулись.

И снова — тем же порядком: Фрося, Даша, Митька. По неумолимому солнцепеку.

Через километр, может, с вершины холма они увидели большую деревню. Многие хаты прятались в садах, зарослях раkitника, вишняка, черемухи.

Когда приблизились к деревне, перед крайней хатой их окликнули:

— Стой, граждане!

Фрося повернула голову вправо, откуда донесся голос. Навстречу им со стороны небольшого овражка направлялся военный с автоматом за спиной. «Контрольный пост», — догадалась Фрося. И мысленно начала перебирать содержимое котомки, соображать, к чему могут придаться патрули при проверке. Вроде бы ничего незаконного нет.

— Попрошу документы, — козырнул сержант.

Фрося вышла вперед, загородила собой Дашу с Митькой, похолодев при мысли, что их могут не пропустить.

Сержант был молодой, стройный, в новой пилотке. Видать, совсем недавно прибыл на фронт. Фрося моляще посмотрела ему в лицо, и он отвел глаза.

— Да какие же у нас, милый, документы? Местные мы, деревенские.

— Здесь запретная зона, без документов нельзя, — старался быть официальным сержант.

— Мы же к отцам, милый, идем, какой же может быть запрет? Недалеко они тут стоять...

— Где?

— В Подоляни, сказывали... Пропусти, милый.

— Не могу. — Сержант недовольно прикусил нижнюю губу. Надоели эти ходоки. Четырех он уже сегодня пропустил. Но те хоть были с сельсоветскими справками, а у этих — ничего нет. Конечно, никакие они не шпионы, деревенская баба да девчонка с парнишкой, но приказ есть приказ: в запретной зоне посторонним находиться нельзя. Да еще без документов.

— Сынок...

— Не имею права. Пойдем в штаб...

И сержант показал на крайнюю хату.

Хата обнесена с трех сторон аккуратным ивовым плетнем, стены ее были побелены, видать, недавно («А я уже третий год свою не белю», — укорила себя Фрося), соломенная крыша ровненько подстрижена. Хозяева хаты, эвакуированные, может, в ту же Карасевку, были, надо полагать, людьми чистоплотными, любящими порядок.

В яблоневом садочке виднелась закопанная по самую макушку танкетка (у них в Карасевке вот так сплошь и рядом в садах замаскированы танки, машины, пушки. Под густыми шатрами яблонь и груш они совсем незаметны для вражеских летчиков-разведчиков.)

— Присядьте здесь, — кивнул сержант на толстое ошкуренное бревно, лежавшее перед хатой и служившее, должно быть, скамейкой — и хозяевам, и сегодняшним постояльцам.

Фрося, Даша и Митька присели, не снимая котомок.

«Если не пропустят здесь, стороной деревню обойдем, но проскользнем», — решила Фрося. Возвращения ни с чем она и представить себе не могла. Егор совсем рядом — а она вернется? Ни за что! Будь что будет, но проскользнет! И впервые за долгую дорогу она пожалела, что взяла с собой Дашу и Митьку: одной сподручней было бы или уговорить патруль, или пройти незаметно.

Однако советовать не время. «В ноги упаду, а упрощу», — твердо сказала себе Фрося.

И неведомо ей было, что думал в это время Митька. А он чуть ли не молился: «Хотя бы нам от ворот поворот показали. Черт знает, сколько еще топать, а плечи и вправду болеть начинают. Только признаваться неохота: опять Дашка стыдить начнет».

Знай Фрося про эти мысли, она бы с кулаками набросилась на Митьку, не посмотрела бы, что он — подросток.

Минут через пять выскочил сержант. Менее суровым голосом, но официально объявил:

— В порядке исключения разрешение получено. Только я вас перепису. Прошу также развязать свои сумки.

Сержант вытащил из кармана гимнастерки вчетверо сложенный лист бумаги, огрызок карандаша и подступил к Фросе.

— Слушаю.

— Тубольцева Ефросинья Акимовна.

— Алутина Дарья Макаровна.

— Алутин Дмитрий Родионович.

Переписав фамилии, сержант приступил к досмотру. Начал он с Митьки.

Митькина котомка была длинная, и сержант долго в нее заглядывал, словно в глубокий колодец. Затем опустил туда руку и стал шарить.

И вот он что-то начал вытаскивать, таинственно улыбаясь:

— Посмотрим, что это у тебя...

И извлек бутылку, сквозь толстое зеленое стекло которой угадывалось содержимое — молоко.

— Что тут? — не веря глазам, спросил бдительный сержант.

— Не видите, что ль? — огрызнулся Митька, а сам подумал: «Буду огрызаться, может, и раздумает пропустить».

Фрося сжала отчаянно зубы: всю обедню, чертенок, испортит.

— Вижу, но полегче у меня, — пригрозил сержант. — Я уже сегодня одно «молоко» отобрал. Самогон, понимаешь ли, забелили и несут под видом молока. А у нас насчет этого строго.

Если бы Митька знал, что на такую же хитрость пошла и его мать, он бы, не задумываясь, раскрыл тайну: а вдруг после этого его, Митьку, не пропустили бы. Вот бы здорово было! Назад бы дорогу он нашел, ничего сложного.

Но Митька про хитрость не ведал. Как и про сговор отца с матерью — когда она в Прилепах его проводывала. Тогда Родион удивился, как это Ксении удалось пронести самогонку. «Ты, мать, если еще когда придешь, то это дело подкрашивай чем-нибудь: молоком или вареньем каким. Иначе это дело отобрать могут», — учил и предупреждал Родион свою жену, и она с понятием кивала в ответ: учту, мол.

А вот Митька этого не знал. И там, под кустами в лошине, где они останавливались перекусить, он не пил молока лишь потому, что не любил его. А любил бы, не испугался бы материнских предупреждений перед до-

рогой: «Молоко, Митька, не трогай, а то прокиснуть, если откроешь».

Не ведал про хитрость Митька, не ведала и Фрося.

Даша сидела на бревне рядом с Митькой ни жива ни мертва: у нее была бутылка с перваком.

Сержант сунул руку в ее котомку и сразу нащупал гладь стекла.

— Хм, — усмехнулся он вслух, нюхая пробку-деревяшку. — Это нельзя. — И поставил бутылку в сторонку.

— Я не отцу! — вырвалось у Даши.

— А кому? Для обмена, может?

— Это тетя Шура Петюкова просила... Она из Подольяни сама. Там у нее отец остался... У него суставы болят...

Волновалась Даша, захлебывалась. А Фрося все больше убеждалась в наивности ее слов. Кто поверит в сказку про неведомую тетю Шуру, про ее больного отца-старика? Никто не поверит, и сержант первый. Правильно поступила Даша, что прикусила язык: как бы вообще не передумали пропустить их. Бог с ней, с самогонкой! Шуре Петюковой все можно объяснить, и та, несомненно, все поймет.

Сержант откупорил пробку у баклажки, понюхал, закрутил пробку и поставил баклажку обратно — все в порядке.

Когда сержант рассматривал Митькино «молоко», Фрося смекнула о грозящей опасности. Она ведь несла спиртного целых две бутылки! Помянуть Ольгу несла. Что ж теперь делать?

Пока сержант был занят Митькой, а затем Дашей, Фрося, отвернувшись слегка, успела достать одну за другой бутылки и сунуть их под кофту. Хорошо, что кофта была широкая и бутылки здорово не выпячивались. К тому же Фрося их зажала под мышками.

Но сердце все равно стучало беспокойно: а вдруг сержант заметил, как она прятала самогон? Отберет,

милый, вишь, как внимательно досматривает. А без спиртного что за поминки? «Могла бы, — скажет Егор, — и схитрить, подкрасить или как иначе».

Екнуло у Фроси сердце, когда сержант развернул тетрадный лист с иконкой.

— Это что такое? — уставился он на Фросю.

— Как видишь, милый.

— Зачем?

Фрося наклонила голову набок, покраснела: вот вляпалась!

— Несу... своему...

— Вы думаете, иконка поможет?

— Говорять люди...

— Пережитки, — осуждающе сказал сержант и, завернув иконку, сунул ее в котомку.

Ничего запретного сержант у Фроси не обнаружил. Дашину бутылку он отнес в сенцы, а вернувшись, лихо козырнул:

— Можете следовать дальше.

И зашагал к дороге — на свой пост.

Фрося быстро поставила бутылки на место и, довольная своей находчивостью, туго завязала лямки. А Дашу успокоила: «Бес с ней, с этой растиркой, хорошо, что пропустили».

МИТЬКА

Он пыхтел и никак не мог уложить свои свертки: то вытаскивал их, то снова прятал, зачем-то заглядывая в котомку.

— Чего, Мить, возишься? — не вытерпела Даша.

— Чего? Ничего! Подштанники куда-то делись.

— Что?

— Что слышала. Подштанники.

Насторожилась и Фрося.

— Получше поищи.

— Сто раз уже все перерыл. Я их небось, где мы обедали, оставил. Я как еду доставал, то их вытаскивал. А ложил ли обратно — не помню.

— Разиня! — вырвалось у Фроси. — Беги теперь ищи. Но Митька оставался спокойным.

— Ничего страшного. Домой будем вернуться — найдем.

Фрося накинулась на Митьку, уязвленная таким его спокойствием:

— Ты хоть понимаешь, что говоришь? Тебя мать для того и послала, чтоб подштанники отнести, а ты — «будем вернуться». Отец в прожженных ходить, а ему и жалости нет. Да ты, сволочонок, хоть уважаешь отца?

Митька надул губы: его обидели Фросины слова.

— Не обзывайтесь, а то я тоже умею.

— А ну попробуй! — наступала Фрося. — Не я твоя мать, я бы с тебя давно семь шкур спустила... Мигом беги за подштанниками!

Митька медленно уложил в котомку провиант, медленно продел руки под лямки.

— Никуда я не побегу.

Они вышли за плетень.

Фрося принялась отчитывать Митьку:

— Это ж надо, ради отца родного ему лень лишних сто шагов пройти! Ты, можить, и специально те подштанники забельшил, кто тебя знает. Всю дорогу ведь выкаблучиваешься.

«Если пойду, то не вернусь», — решил Митька.

И тут обернулась шедшая впереди Даша. Ах, эта Дашка-выскочка, маменькина дочка! Вызвалась:

— Я сбегаю, так и быть.

Митька не успел про себя ее обозвать как следует, а она уже сбросила с плеч котомку, поставила ее у Фросиных ног и припустилась под бугор, в лощину, где они обедали. Митька ошалело моргал.

— Вернись! Я сам.

— Ладно уж...

Он махнул рукой: беги, если ноги казенные. А ему неохота. У него еще не прошла на отца обида после той неожиданной встречи в хате Таиски Чукановой. Промолчал он тогда, не поделился своей обидой с матерью. Рассудил: узнает мать — переживать начнет, да еще больше разговоров по деревне пойдет. Вот-де Родион Алутин отчебучил: его за инструментом с фронта отпустили, а он прямым ходом к полюбовнице. Ксения — дуря бесхарактерная. Да и Митька непутевый. Как только, скажут, терпит такого? Взял бы дрын да по отцу! Здоровый ведь уже малый!

И, чтобы таких разговоров не произошло, Митька решил молчать. Отец перед уходом из дома и впрямь зажигалку ему давал, но он отказался ее взять. Курить Митька не курил, а так — зачем она? Да и не хотелось от отца ничего. Пусть не думает, что Митьку запросто подкупить можно.

Не грызла Митьку совесть, что не побежал за подштанниками. Пусть Дашка бегаёт! Ей вечно больше всех надо — и по дому, и в школе. Прошлой весной, в начале марта, Митька попал вместе с ней в одну группу молодежи, которая ездила расчищать аэродром для наших самолетов. Так и там чуть станешь отдыхать или баловаться, толкаться с кем, она тут как тут: «Вы что, работать сюда пришли или баклуши бить?» И так скажет, чтобы старший над подростками услышал, — как можно громче.

Вот и сейчас — побежала. Героиня, смотрите! Он бы, Митька, и сам сходил, забрал бы эти опостылевшие ему подштанники. Но и не вернулся бы, скорее всего. Только б рукой издали помахал. А Дашка опередила. Ну, беги, а он отдохнет тем временем.

Митька глянул в ту сторону, куда самозванно убежала Даша.

Она уже достигла кустов, на минуту скрылась в них.

И вскоре снова появилась, держа в руке что-то белое. Понятно, что.

«А ты, тетка Фрося, почему зубы сжала, волком на меня смотришь? Может, объяснить тебе, отчего я к отцу не хочу? Может, рассказать тебе про Таиску? Тогда иначе запоешь. А то заладила: «Я бы с тебя семь шкур спустила!» На моем месте тебе слово «отец» было бы тошно произносить...»

ДАША

Шла Даша по-прежнему рядом с Фросей. Опять вспомнилась Катя Горбачева, верная подруга, с которой делилась всеми девичьими тайнами, с которой бегала на вечеринки.

— Как она теперь там? — спросила Даша.

— Кто? — не поняла Фрося.

— Катька Горбачева.

— А никак... Работают. Обещали ведь им рай в Германии. И работу чистую.

— А говорят, что они там наподобие рабов. Вон в Михеевке у кого-то радио есть, так передавали, что на самой тяжелой работе молодежь наша.

— И я слыхала. Про рай, милая, это я с подковыркой сказала. Конечно, не для гульбы молодежь угоняли — дураку ясно. Кто поверил в рай — тот теперь локотки кусаить.

Когда зимой сорок второго года староста Дородных, крепкий, расторопный старик из Болотного, объявил, что немцы приглашают добровольцев на работу в Германию, в Карасевке только один такой нашелся. И то не по своему хотению он записался, а мачеха его подтолкнула ехать в чужие, но, по словам старосты, якобы благодатные для жизни края.

Уехал один, и больше добровольцев не находилось. А старосту Дородных сам комендант Венцель в Нижне-

малиново вызывал. Кричал на него по-немецки, слюною брызгал, но Дородных понял смысл не наших слов: «Скотина ты, староста, если в ближайшие дни не отправишь десять человек, заберем двух твоих дочек, а самого повесим».

На рождество, Даша это хорошо помнит, Дородных вышел на охоту.

Вся карасевская молодежь на свой страх и риск собралась в тот вечер на хуторе Зеленое Поле, у бабки-бобылки Игнатихи. Бабке одной скучно жилось, она нечасто, но разрешала устраивать у себя вечеринки. Залезет на печь и наблюдает оттуда, как ребята за девушками ухаживают, любовь заваривают. Наблюдает и, глядишь, свою далекую молодость вспомнит, то, как и за ней когда-то ухаживали. И хорошо на душе у бабки становится от этих воспоминаний, покойно.

С двумя балалайками заявили в тот вечер девки да ребята (на балалайках девчата играли, гармонист Володя где-то воевал). Ничего, что женихам было по пятнадцать-шестнадцать лет, и они шли нарасхват из-за малочисленности. Хотелось порой душу отвести!

Как водится перед рождеством, гадать начали. Бумагу девчата на тарелке жгли: рассматривали, на что тень от пепла похожа. На танк — за танкиста замуж выходить, на телегу — за конюха...

Времени никто не замечал, про комендантский час никто и не вспомнил. Тем более, что его не очень-то и придерживались. Если б не Игнатиха, до утра бы бесились. А ее стало клонить ко сну: старое тело требовало отдыха. И часов в двенадцать ночи бабка встала с печи. Вышла на середину хаты, посмотрела в одну сторону, в другую, в третью, раскланялась. И все поняли: Игнатиха просит расходиться.

С шумом высыпала молодежь на заснеженную морозную улицу. И никто не заметил, как и откуда появился среди них староста Дородных.

— Вот они где! — закричал он. — А комендантский час для вас, значит, не писан! Ну, погодите у меня! Так: Катька Горбачева, Дашка Алутина, Мишка Заугольников, Колька Чуканов, Галька Тарубарова...

Спохватились — кинулись врассыпную. Но было уже поздно. Многих староста узнал.

На другой день Дородных разослал повестки — тем, узнанным. Предлагалось явиться в комендатуру со смежной белья и трехдневным запасом продовольствия.

Что тут началось!

Плач.

Паника.

Смятение.

Одни родители причитали:

— Это ж на тот свет провожаем!

Другие успокаивали:

— Разве у кого подымется рука сгубить таких молодых? Поработают — вернутся.

Те, кого беда не коснулась, потихонечку советовали:

— А вы этого, Дородных, ублажите...

— Ублажишь его... Вон Горбачевы попытались. Так он из хаты выгнал: «Вы за кого меня считаете?»

Дашина мать с отцом, однако, тоже решили попробовать откупиться. Ну, выгонит Дородных, рассудили, хуже не будет. А вдруг да клюнет.

И Макар пошел точить нож — резать последнюю овечку. Даша как узнала об этом — к отцу. Схватила его за руку:

— Сами с чем останетесь? Не меня одну угоняют — многих. Уцелеем как-нибудь. А у вас — вон сколько ртов.

Но Макар медленно отстранил дочь, непривычно холодно сказал:

— Это не твоего ума дело.

И направился в закутку.

Назавтра рано утром, когда еще не рассвело, Макар

был уже в Болотном. В мешке у него лежала свежая тушка овцы, в кармане полушубка — бутылка самогона.

Лампа в хате старосты уже светилась. Макар тихоноcko поднялся на крыльцо (мешок перед собой держал), постучал в дверь костяшками пальцев.

— Кто там? — послышался хриплый мужской голос. «Сам», — узнал Макар. Кашлянул.

— Свои. Алутин, Макар.

Звякнула щеколда.

— Чего в такую рань принесло? — Дородных был на голову выше Макара. Он пощипывал бороду. — Заходи.

Макар протиснул впереди себя мешок. В сени. Тут и прислонил его к какому-то коробу.

Дородных медленно пятился назад.

— А это что?

Макар замялся:

— Кхе. Да так. Понимаешь: зарезал овцу. Она у меня пуда четыре весила — здоровущая такая. Думаю: куда мне, кхе, одному столько? Дай, думаю, поделюсь...

Макар боялся поднять глаза: а вдруг его бессовестная брехня разгневет Дородных.

Макар потянулся к карману полушубка.

— А это, кхе, под свежину. — Вытащил бутылку и положил ее на мешок: пробка была надежная.

Дородных с минуту наблюдал за Макаром, молча ухмылялся в густую бороду:

— Ну и прохвост ты, Макар Алутин! «Куда одному столько?» Если б одному... А то пятеро у тебя, кажись... Ну, ладно. Чего же ты хочешь? — спросил, хотя уже смекнул, чего Макар хотел. — Чем прикажешь отблагодарить?

У Макара отнялся язык. Как ученик-двоечник у доски, он переминался с ноги на ногу, проклиная себя за неумение обходительно да незаметно изложить свою просьбу. Наконец брякнул:

— Как бы, кхе, дочь освободить от угона...

Сказал и враз почувствовал облегчение: ничего тяжелее не было для него в жизни, чем слова унижения. И вот они сказаны.

Дородных почесал за ухом. Уже второй проситель из Карасевки пожаловал. Горбачевых он отладил: не посылать же свою дочь вместо ихней Катьки. Теперь этот вот, Макар. Мужик он вроде неплохой, до войны бригадиром был. Помнится, лошадь давал без всякого магарыча: и торф перевозить, и пахать, и даже за внуком в больницу. Это с одной стороны. А с другой... Почему Макар не захотел старостой быть? Предлагали ведь ему. Значит, боится возвращения красных. Значит, если они и взаправду вернуться, то он первым на меня пальцем укажет: «Этого расстрелять, этот в Германию молодежь угонял...»

А была еще и третья сторона. Дородных тут рассуждал так. Если все-таки немцев прогонят, может, не расстреляют его. Может, он докажет, что не больно виноват. И подтвердит это не кто иной, как уважаемый в колхозе человек Макар Алутин. «Я, скажет Дородных, головой рисковал, когда кое-кого от Германии спасал. Вот, скажет, Макар свидетель: я его дочку уберег...»

Дородных шагнул к Макару, взял его за плечо:

— Ладно, что-нибудь того... придумаем... Но и ты мою доброту помни...

Макар бежал домой, не чуя под собой ног. Дашка спасена! Три километра от Болотного до Карасевки показались ему непомерно длинными: так хотелось ему поскорее сообщить доброе известие!

Бежал — пар горячий изо рта — и нашептывал:

«Дашке надо запретить выходить на улицу, чтобы не мозолила глаза, — раз. Не пускать ее с нынешнего дня на гулянки — два. Приду, скажу, чтобы Маруся нажарила картошки, — три. Потом позову двоюродного брата Родиона, и мы на радостях выпьем — четыре...»

Но вот наконец показались первые хаты Карасевки, и Макар сбился со счета.

Даша уже не раз плакала от радости: она остается дома!

Но через пять минут принималась плакать по Катьке Горбачевой, своей верной подружке. Отец с матерью даже проводить Катьку не разрешили. По деревне они пустили слух, будто на Дашу обрушилась какая-то болезнь: жар у нее, сыпь, потому-де Дородных пощадил ее. Даша и впрямь лежала в постели и впрямь иногда ощущала жар. Но это, чувствовала она, скорее всего, от переутомлений. Почему-то думала: Катька не верит слухам о ее болезни. «Откупились, — поди, осуждает меня теперь. — Откупились, и знаться не хочет. Даже попроситься не вышла...»

И Даша снова плакала в подушку...

С того времени минуло уже более года.

«Нехорошо я поступила, нехорошо, — в сотый, если не в тысячный, раз укоряла себя Даша. — Надо было показать свой характер, не идти на поводу у отца и матери. Надо было хоть проводить Катьку. А если бы кто спросил тогда: почему меня не угоняют?..»

— А я ведь изменщица, теть Фрось, — подала голос Даша. Они в это время спускались в овражек, и идти стало легче.

— Ты про что, милая?

— Да все про Катьку. Изменила я нашей с ней дружбе.

— Что прощать не пошла?

— И это. Надо было не бросать ее — я это поняла. Каково ей там одной? Что она теперь про меня думать?

— А что думать? — усмехнулась Фрося. — Должна ведь она понимать: всякому своя судьба... И правильно ты сделала, что отсиделась тогда. Сплетен меньше...

Фрося разговорилась:

— Ты, милая, не будь такой совестливой. Совестливым трудно жить, по себе знаю. Все-то боялась, как бы про меня люди плохого слова не сказали, не щадила сроду себя. За Егора вышла — и совсем себя доконала. Я ить забыла, когда последний раз спала да ела вволю. Все — детям, Ольге. Ради них жила. Мне вон сорок три года, а я вся седая. Морщины вон на лбу — как бороной прошлись. А кто понахальней жил, тот не износился. Тот над нами, совестливыми, посмеивался: дураки-де. Настю Шошину взять: при немцах крутила на все четыре стороны. Загуляить, бывалоча, и день, и другой — так ни про детей, ни про хворую мать не вспомнить. Не говоря уже про мужа — он далеко где-то воюить. Попыталась я ее как-то образумить, она глаза выкатила и матом на меня: «Заткнись! Хорошо тебе вякать, когда Егор дома. А мой, можить, в сырой земле давно лежить. А я еще, — говорить, — молодая». Я, отвечаю, и без Егора бы себя блюла. А она: «Посмотрела бы я...» Потом Заплата приняла, ребенка от него принесла. Сейчас с каким-то офицером путается. Можить, еще одного принесть. И — ничего ей. Хоть... плюй в глаза, скажить: божья роса... Не переживай, Даша. А то еще и про Дородных скажешь, что его из-за тебя повесили.

Немцы прознали-таки про взятки старосты из Болотного. В назидание другим их прислужникам они довольно круто обошлись с Дородных — вздернули его. «Это наглость, — негодовал комендант Венцель, — заниматься какими-то поборами, служа одновременно великой Германии. Я бы ему простил самоуправство, если бы он застрелил кого-то. А чтоб какой-то старик наживался — этого я не позволю».

И приказал его повесить.

Нет, за Дородных Даша ни капельки не переживала. Наоборот, когда узнала о его казни, подумала: «Так и надо толстой морде! Совсем зажрался».

За разговором они забыли про Митьку. Даша прислушалась: ни его шагов, ни посапывания за спиной не было слышно, и она обернулась. Митька приотстал метров на тридцать.

ФРОСЯ

Ольховатку, через которую проходила вторая линия обороны советских войск, они обошли с краю: так, предчувствовала Фрося, ближе. И направились в Самодуровку. Никто из троих в тех краях не был — только слышали про такую деревню. Да в районной газете ее иногда упоминали — до войны еще. Егор Тубольцев газету выписывал. Фрося ее не читала: образование у нее два класса, третий — коридор, к тому же, полагала она, читать газеты — не женское занятие. Но слушать любила, когда Егор читал вслух. Про всякие международные дела любила слушать, про работу колхозов: кто отстаёт, кто вперед вырвался. Самодуровский колхоз да их, Карасевский, «Большевик» всегда рядышком шли, в середине. Фрося, бывало, возмущалась: «Ну разве ж нашей Карасевке пристало с какой-то Самодуровкой соседствовать? Позор — быть рядом с таким названием! Хоть бы кто догадался дать другое имя той Самодуровке!»

И вот теперь они приближались к этой деревне. Фрося время от времени поправляла сползавшую с головы черную косынку. Припекало сквозь нее солнце — как бы удар не получить.

Тяжелее всех, чувствовала Фрося, было Даше. «Отдохни чуточку», — сказала она ей, когда та, запыхавшаяся, помогала Митьке уложить в котомку найденный сверток. Даша и рада бы передохнуть, да понимала: нельзя. Ответила: «Время уж много, и идти далеко». И Фрося подумала: «Выносливая, чертяка. А скорее — совестливая...»

Даша дышала ртом, горячий пот разъедал глаза, а она еще находила в себе силы разговаривать, мечтательно притом:

— Сейчас бы, тетя Фрося, ведро холодной воды на голову. А еще лучше — в речку. Нырнуть и долго плыть под водой, пока не перестанит раскалываться голова. А потом вынырнуть, набрать побольше воздуха и снова опуститься на дно. Сережка, поди, сейчас на речке плещется. Просился, дурачок, со мной идти в такую даль. Уже взвыл бы давно, слезу пустил бы: «Уморился, домой хочу». Да и Митьку бы этим своим нытьем подбивал к возвращению. Вдвоем бы нас они, тетя Фрось, извели.

На всякий случай Фрося обернулась: не догнал ли их Митька. Нет, он по-прежнему отставал и не мог слышать Дашиных слов.

— Извели бы, это точно... А про купание ты так красиво говоришь, что и самой захотелось в воду. Прямо в одежде бы сейчас... Ладно, завтракупаемся, когда вернемся... А теперь давай Митьку подождем...

Встретилась военная машина-полупортка с крытым кузовом. Обдала карасевских ходоков густой серой пылью.

Когда облако пыли рассеялось, Фрося провела по щекам, лбу тыльной стороной ладони. Посмотрела — пот был перемешан с грязью. Лицо горело, будто его натерли наждаком.

Да, в воду бы сейчас, в воду...

И вдруг Фрося услышала тележный скрип. Сзади. Она оглянулась.

Лошадь бежала трусцой. Свесив с дробины ноги, на телеге сидел солдат. Вот лошадь поравнялась с идущими, солдат натянул вожжи. Лошадь пошла шагом.

— День добрый! — поздоровался солдат.

Фрося, Даша, Митька подняли на него глаза. И все трое разом ахнули:

— Заплатин!

Солдат приоткрыл рот и на несколько секунд застыл.

— Кого я вижу?! Тпру, гнедая!

Он соскочил с телеги, кинулся пожимать руки.

— Вот так встреча!

Заплатин появился в Карасевке под новый сорок второй год. Из окружения он выходил вместе с одним мужиком из Баранова, родной Фросиной деревни. Рыков у того мужика была фамилия. Гаврик Рыков.

Фрося как раз у родственников по каким-то делам была, когда заявился в деревню Рыков и этот его товарищ, Заплатин. Встретила, помнится, Фросю жена Гаврика, радостная, возбужденная, не верящая в возвращение мужа, ну и про все рассказала. Про Гаврика и про Заплатина. Гаврика Фрося с рождения знала, а вот про Заплатина слушала с неизменным бабьим любопытством.

— Тридцать шесть лет ему, — сообщала Гаврикова супружница, — женат, дети есть. Сам из Башкирии, там хутор есть какой-то, чуть ли не Заплатинским и называется. Идти, говорить, домой далеко, можа, говорить, на время пристану к кому. Найди, говорить, такую женщину. А где я такую дуру найду — чтобы на время? У тебя, Фрось, нетути кого на примете?

Фрося перебрала в уме всех карасевских баб — не ахти как велика деревня — и остановилась на Таиске Чукановой.

По возвращении домой Таиске все и высказала. Так и так, сообщила, есть хороший человек. Хочет временно, но вдруг и насовсем останется.

Таиска — тридцать пять ей было — по-молодому поиграла плечами:

— Ну черт с ним, веди. Посмотрим, что за мужик.

Фрося незамедлительно передала через людей о своем разговоре с Таиской в Бараново, тому самому Заплатину.

Через день он явился собственной персоной. Отмылся уже к тому времени у Гаврика, постригся, чисто жених — хоть под венец веди. Карасевские бабы на него при встрече зыркали не без зависти, единодушно отмечали: красивого мужика отхватила Таиска! А Заплатин будто чувствовал интерес к себе. Ходил по деревне важно и чинно, здоровался вежливо и с низким поклоном, при улыбке стальные зубы показывал. Был он статным, круглолицым, глаза глядели озорно, весело — привлекательно, в общем.

Может, месяц он прожил у Таиски, может, чуть поменьше, тут вдруг возвращается Родион Алутин. Тоже из окружения. Бабы, обсуждая эту новость, всплескивали руками: «Что теперь будить? Как Таиска выкрутится из щекотливого положения?»

Через недельку Родион наведался вечерком к Таиске и в присутствии Заплатина категорически ей заявил: «Или этот, — показал он на Заплатина, — уйдет сам, или я вас обоих того...»

И, больше не говоря ни слова, ушел.

Таиска перепугалась не на шутку, стала плакать. Заплатин давай ее успокаивать: «Пусть только пальцем тронет — он не знает еще Заплатина».

Но Таиска была неумолима: «Придумывай, что хочешь, Заплатин, но завтра уходи».

Делать было нечего, и оказался Заплатин в доме Настя Шошиной. Сердцем понимал он, что негоже к солдатке приставать, отбивать ее у мужа-защитника. Но тут же иначе рассудил: не насильно ведь он вошел, а по-доброму попросился. Да и не на правах мужа он жить собирался. А коли что — на войну все грехи можно свалить, война все спишет.

Разбитная бабенка Настя Шошина довольна была своим квартирантом (так она его всем представляла). Заплатин пришелся ко двору, оказался мужиком работающим, заботливым. Весь день что-то строгал, пилил,

мастерил, а летом он и сена наготовил, и торфа накопал Насте. «Вот неожиданное счастье подвалило», — радовалась она про себя, но при людях своей радости не выказывала, боясь сглазить Заплатина.

Был Заплатин и еще на одно дело мастак, за что уважала его вся Карасевка. Он соображал кое-что в ветеринарном деле: какие-то курсы до войны окончил. Раньше деревню Родион выручал. А после выхода из окружения с ним случилось непонятное: категорически отказывался скотину лечить. Будто бы, говорил, как насмотрелся на фронте человеческой крови, так с тех пор и укол поставить не лежит душа. Правда или неправда это была, а приходилось теперь карасевским жителям, если случалась нужда слегчить поросенка, подлечить заболевшую корову, овцу или козу, идти за шесть километров в Нижнемалиново за тамошним ветеринаром. И вот оказалось, что Заплатин в этом деле знает толк. Передал Родион ему свой инструмент, и стал он художно лечить животных, не требуя особой платы, а иногда довольствуясь лишь добрым словом.

Фрося помнит, как и их корову спас однажды Заплатин. То ли заболела она чем, то ли ведьма ее подоила (была такая примета), но стало молоко идти с кровью. Позвала она Заплатина. Тот явился незамедлительно, осмотрел вымя, помассировал его, в рот корове зачем-то заглянул, а затем сделал ей укол. И сказал, похлопав корову по спине: «Ничего страшного, завтра ваша Лыска будет здорова». Фрося пяток яиц Заплатину вынесла — работал все-таки человек! — а он напрочь отказался: «Яйца детям пригодятся. Вот чарочку я бы выпил». — «Тогда заходи в хату», — обрадовалась Фрося: негоже было отпускать человека, не отблагодарив.

Корова уже назавтра действительно давала нормальное молоко. Помог залетный ветеринар!

С приходом наших войск вместе с другими мужиками Заплатин ушел довоевывать.

Настя Шошина провожала Заплатина до станции, плакала (это Фрося сама видела), на прощание, не стесняясь, обняла его и многожды расцеловала...

И вот теперь повстречался этот Заплатин. Лицо у него и руки загорели. Глядя на обмотки и ботинки, покрытые серой пылью, он, стесняясь, говорил:

— Не зря молва есть такая: мир тесен... Вот встретились... Как живете-то хоть?

— По-старому, — отвечала Фрося.

— Егор где?

— В Подоляни должен, а точно не знаю. И вот их отцы вроде бы там, — кивнула Фрося на Дашу и Митьку.

— Я в Понырях тогда с ними расстался. По разным ротам нас. Да... Значит, все живы-здоровы.

— Все, милый.

— Ну и добро... Садитесь, подвезу.

Фрося начала отнекиваться:

— Не стоит, мы не так уж и уморились. Дойдем...

— Рассказывайте сказки, — не обращал внимания на ее слова Заплатин, снимая котомки поочередно с Даши, Митьки, а потом и с Фроси и укладывая их на телегу. — И сами садитесь. Только на вилы не напоритесь, — предупредил Заплатин.

Митька вскочил на телегу первым. Села и Даша, поджав под себя ноги.

Фрося отказалась:

— Я пешком.

Тогда пошел с ней рядом и Заплатин, держа в руках ременные вожжи. Рассказывал:

— Я, понимаешь ты, за сеном еду для лошадей. В лесу тут, недалеко, наши косят.

Заплатин достал из кармана гимнастерки аккуратно сложенную газету, оторвал квадратик, насыпал из кيسета махорки, свернул небольшую сигарку, задымил.

— Как там моя?

— Ничего, как все, — догадалась Фрося, о ком спрашивает Заплатин.

— Не гуляет?

— Не слыхала.

Настя погуливала с одним офицером — вся деревня знала («От мужа вестей нетути, Заплатин мне — никто, чего беречься?» — отчаянно заявила она бабам). Но Фрося ушла от прямого ответа. Какой резон, рассудила она, Заплатаина расстраивать? Хоть и дите у них с Настей, а ведь и вправду он чужой ей, свою семью имеет, про Настю, наверно, просто так спрашивает, ради приличия.

— Мальчонка растет?

— Ра-а-астеть, милый, — нараспев и нарочито бодро ответила Фрося.

Заплатин помнил сына полуторамесячным, а сейчас ему уже было почти полгода. Рос он, вопреки суровому времени, крепким, хотя грудь отказался брать вскоре после проводов Заплатаина. Законные Настины дети — двое их было у нее — любили своего младшего братишку, охотно играли с ним, забавляли, чем могли. Да и бабка оттаяла. Поначалу она ворчала на Настю: «Вот вернется Иван, что ты, потаскуха, ответишь ему? Убейся, потаскуха, вместе со своим выблядком: не хочу вас видеть!» Но постепенно проходил ее гнев, и она все чаще тетешкала карапуза-внука. А теперь, хвалилась всем Настя, даже зауважала его, первая вскакивала, если он ночью начинал плакать.

— Бабка им не нарадуется, — добавила Фрося, и Заплатин вздернул бровь.

— Да, заварил я кашу... Придется Насте помогать... Ну, а у тебя что?

Фрося опустила голову, закашлялась: ком подступил к горлу.

— Вот несуд Егору известие... — наконец выговорила она.

Заплатин резко повернул голову в ее сторону.

— Неужель Ольга?

— Она, милый.

— Вот те на... Отмучилась, бедолага...

Дальше разговор не клеился. Заплатин думал о том, что все мы, люди, ходим под богом (а может, и под чертом), никто не знает, когда придет последний час. Вон Ольга, сказывали, более десяти лет лежала прикованная к постели, а у них вчера в роте девятнадцатилетнего солдатика шальная пуля в один миг свалила. Ему бы, солдатику этому, еще век жить (на меньшее он и сам не рассчитывал) — и вот такое дело. Впрямь под богом ходим.

А Фросины мысли к Егору понеслись. Как он воспримет Ольгину смерть? Заплачет или вздохнет с облегчением? Не будет ли Фросю упрекать, что не уберегла его первую женушку? А как ее еще беречь? Последние силы ей Фрося отдавала. О детях меньше заботилась.

— Смотрите! — вдруг подал голос Митька, и все повернули головы направо: и Даша, сидевшая впереди, и Заплатин, и Фрося.

Митька показывал на холмистое поле. Там, недалеко от дороги, стоял немецкий (с белым крестом) танк. Башня его была сдвинута набекрень.

— С зимы, — пояснил Заплатин. Бросил на обочину окурочек — уже пальцы припекал, — задумчиво продолжал: — А ведь фрицы думают реванш брать...

Фрося не поняла:

— Что за реванш? Город, что ль, такой?

— Да не, — невесело улыбнулся Заплатин, — сдачи нам попробуют дать за зимнее поражение.

— И когда? — встревожилась Фрося.

— Военная тайна. Мы и сами не знаем — когда. Одно известно — скоро. Уж больно немцы усиленно готовятся. Танков нагнали, самолетов... Может, похлеще Сталинграда заваруха будет. Все солдаты так говорят.

«Значит, права была верхнемалиновская старуха, говорившая про скорое наступление, — вспомнила Фрося. — Должно, от верных людей прознала...»

— А наши, дядь, готовятся? — подала голос с телеги Даша, доселе чутко слушавшая Заплатина.

— Да уж, наверно. Наши тоже не лыком шиты...

У развилки дорог — коренной и узкой, убежавшей влево, в заросшее бурьяном поле, — Заплатин остановил лошадь.

— Мне сворачивать.

Даша мигом соскочила с телеги, прижимая ручонками к груди пузатые котомки — свою и Фросину.

— Я помогу, — метнулась к ней Фрося и подхватила свою котомку. А Митька с минуту еще продолжал сидеть, строя догадки: чего это вдруг Заплатин остановился?

— Уснул, что ли? — вывела его из оцепенения Фрося. — Нам — прямо...

— У-у, — промычал Митька.

Заплатин бросил вожжи на круп лошади.

— Будем прощаться...

Фрося опустила на траву котомку, стряхнула с юбки соринки.

— Погодь, милый, я тебе гостинца дам.

Заплатин замотал головой.

— Не-не-не-не! Ничего не возьму.

Но Фрося уже развязала котомку.

Опустила свою котомку и Даша.

Фрося вытащила ситную лепешку.

— Не-не-не-не! — с новой силой занекал Заплатин. — Кормят нас вот так, — он провел рукой по шее.

Фрося беспомощно опустила лепешку. Что это с Заплатиным? Гребует или вправду сыт? А без гостинца прощаться как-то неудобно. Настя узнает, что встретили Заплатина, непременно спросит: «Не угостила?» Настя не постесняется вот так спросить. И что ей отве-

тишь? Мол, отказался? Видно, так угощала, подумает, раз отказался. Если бы от сердца — принял бы и ту самую лепешку.

— Негоже тах-та во, — огорченно выдохнула Фрося. — Слушай, ну хоть помяни тогда Ольгу. — И она выхватила из котомки бутылку. И кружку тут же достала.

Заплатин при виде бутылки крикнул, стал топтаться на месте.

— Это можно. Царство ей небесное.

Фрося протянула ему раннее яблоко.

И Заплатин медленно выпил.

— Спасибо на добром слове.

Наконец и Митька решил угостить Заплатина. От лепешки тот отказался. Может, сало предложить? Или молоко? Молоко — лучше, пусть запьет молоком.

Митька вытащил зеленую бутылку и протянул ее Заплатину.

— А вы нам поросенка слегчали... Угоститесь.

Заплатин отпрянул.

— Что это такое?

— Молоко.

— Не-не-це. Это неси отцу.

— Отец молоко не любить. Не знаю, зачем его мать навязала...

— Сам выпьешь.

— А по мне тоже — что есть оно, что нету, возьми, дядь, пожалуйста.

Родион действительно пил молоко раз в году, ну, а Митька, знать, в отца пошел, тоже не охоч до него был. Разве что утром перед какой работой или дорогой — как нынче, например, — малость выпивал. А так — равнодушен был к молоку.

К тому же, рассчитывал Митька, если молоко он сплавит Заплатину, котомка полегчает. Бутылку мать нашла тяжелую, с толстым вогнутым дном и непомерно длинным горлышком. Давит она спину, мешает идти.

— Дя-я-ядь...

Знай Ксения, как ее сын Митька избавляется от самогонки, она бы наверняка наподдавала ему подзатыльников: «Черт холоумный, для отца это, может, самый главный гостинец!»

Но судьба была благосклонна к Митькиному отцу: Заплатин от молока отказался, как и от лепешки, наотрез.

— Гля-ка, да оно у меня скисло, — посмотрел Митька на солнце сквозь бутылку, — ошметки плавают. Вылью я это молоко... Эх, мать, говорил ведь ей, что скиснуть...

— Не балуй, — остановила его Фрося. — Нес, нес и «вылью». Можя, отец и кисляку рад будить. Соскучился, можя.

— Да не пьеть он его! — твердо заверил Митька.

— А на этот раз, можя, и выпить. Вон, скажить, сын за сколько верст нес, как не попробовать.

Митька недружелюбно покосился на Фросю и принялся, ворча, укладывать бутылку с «молоком» на место.

Закусив, Заплатин по-молодому вспрыгнул на телегу. Просунул ноги в дробину.

— Сказывайте поклон Насте! И детишкам. Всем, всем. Может, еще свидимся. — И помахал рукой. — Но!

Лошадь охотно почти с места пошла рысью: ее одолевали мухи и оводы.

ДАША

Показались первые хаты Самодуровки. Справа, в большом саду, краснело кирпичное здание. «Школа, наверное, — подумала Даша. — Через два месяца учеба начнется, а для меня она кончилась. Мать вот-вот родить должна, и станет нас, детей, шестеро. Одной ей без меня не управиться... Да и в колхозе некому работать».

Сад был огорожен плетнем и кустами акации. Когда ходоки приблизились к саду, над плетнем вдруг возникла солдатская голова — в полинялой пилотке. Чуть выше плетня солдатик был.

— Гей, ай к нам гости?! — удивленно воскликнул он, держась двумя руками за старый плетень. — Соломатин, — обратился он к своему напарнику, который находился там, за плетнем, — это не к тебе? Давно ждешь... Откудовт, рыженькая, будете? — спросил солдатик.

— Карасевские мы, а что? — ответила Даша и обиделась: «Сам ты рыжий».

— Соломатин, ты откудовт? — снова обратился солдатик к неведомому напарнику.

И вот из-за плетня встал Соломатин. Высокого роста — плетень ему был по пояс, — но узкоплечий, худой. Без пилотки, без ремня. Вытер потный лоб рукавом гимнастерки, всмотрелся в приостановившихся Фросю, Дашу и Митьку. Озабоченно прикусил губу.

— Нет, Зырянов, не ко мне...

И медленно исчез за плетнем, словно ушел в землю, откуда минуту назад появился. Впрочем, так оно и было: Соломатин сооружал землянку.

Солдат же по фамилии Зырянов продолжал стоять и смотреть на незнакомых людей. Может, что вспоминал: родину ли, жену ли, детишек, которые, наверно, остались в далекой стороне, — а может, просто любопытным был.

— Тубольцева, случайно, не знаешь? — без особой надежды спросила Фрося.

— Тубольцева? — прищурил глаза Зырянов. — Соломатин, ты не знаешь Тубольцева? — глянул он вниз. — Постой, постой, — что-то вспоминал Зырянов, — а у Степши как фамилия? Тубольцев же? Тубольцев, тетка! У нас в роте! Заходи к нам в сад, сейчас мы мужика твоего доставим, — радостно потирал руки Зырянов, будто это к нему явились, его отыскиали.

— Моего Егором зовут, — тихо сказала Фрося и кивнула стоявшим сзади Даше и Митьке: идемте, мол, наши дальше, в Подоляни. Обиделась, заметила Даша, и она на солдата: «тетка». И впрямь, какая тетя Фрося ему тетка? На десяток лет, может, старше, а он — «тетка». Хотя она, в черном платке, выглядит, наверное, намного старше своих сорока трех. Было ей отчего постареть: война, Ольга, дети. Даша видела, как стиснула зубы тетя Фрося, чтобы не заплакать.

Зырянов не отставал, он сделал несколько шагов вдоль плетня.

— Слушай, тетка, самогонки нет лишней? На новые ботинки поменяю... Пригодятся, а?

Опять ненавистное обращение — тетка!

— Идемте-идемте! — торопила Фрося.

А Митька снова сцену разыграл, ремня на него нет. Крикнул солдату Зырянову:

— Молоко имеется — возьмешь?

— Молоко сам пей. Самогонки нету? За ботинки, а?

— Молоко за так отдам — возьмешь? — И Даша услышала, как он тихо сказал: — Если вдруг возьмешь, отдам. А отцу все объясню. Вон как спину бутылка давить...

Даша схватила его за рукав: отдаст, испугалась, молоко, так и норовит от него избавиться.

— Митька! — прикрикнула она. — Идем, хватить зубоскалить.

Он не стал сопротивляться, только спросил на прощание:

— Мы этой дорогой в Подолянь идем?

— Куда? — приложил Зырянов ладонь куху. — В Подолянь? Этой. Через Соборовку, Бобрик... Передай тетке: пусть поменьше злится, а то не найдет своего Егора.

Фрося слышала голос солдата, но только не разобрала, что он говорил...

Прошли мимо колодца. Даша успела заглянуть в него: глубокий, воды не видно. Вот бы сейчас хоть глоточек, хоть полглоточка холодной колодезной воды! Но ведра на конце цепи не было. Даша усмехнулась своей наивности: откуда появится ведро? Ольховатка дальше от линии фронта находится, и то всех жителей эвакуировали. Здесь тоже одни военные, а тетя Фрося не разрешит идти к ним за ведром.

Забыла Даша одно время про воду — и пить ей долго не хотелось. А колодец напомнил. «Старый, наверное, он»; — подумала Даша про колодец. И не без причины так подумала: вон как шибануло в нос гнилым деревом и грибами-поганками, что кучками приспособились расти на срубе. То ли дело у них колодец — никаких поганок! И вечный, потому что из цементных колец. Лучший в Карасевке! Отец каждое лето в эту пору чистил его. Надевал резиновые сапоги, шапку, фуфайку, и троечетверо мужиков погружали его, безбоязненно садившегося на крепкий деревянный брусок, в пугающую звонким эхом глубину. Затем отцу спускали ведро. Он накладывал в него лопатой-обрубком ил, случайный мусор, песок.

Ведро поднимали, содержимое высыпали тут же, в метре от колодца.

Ведер восемь-девять обычно доставали ила и песка. Когда отец замечал, что ключ начинал свою новую, оживленную жизнь, он давал команду наверх: «Тяни меня!»

И вот, как сказочный герой, он появлялся на поверхности. Лицо в грязных брызгах, с сапог падали вниз звонкие капли. Ему помогали слезть с бруска, он, довольный, фыркал, стряхивал с рук грязь и первым делом просил: «Курить».

Даша, обычно в толпе ребятишек находившаяся тут же, чувствовала себя в такие минуты на седьмом небе. Еще бы! Вон какой смелый у нее отец! В холодную ко-

лодезную воду не побоялся опуститься! И заболеть не боится! Прекрасно быть дочерью такого отца!

Тут хочешь не хочешь, а нос задерешь.

В этом году колодец не чистили. Видно, уж никто до конца войны о нем не позаботится. Только б не устал ключик пробиваться на поверхность сквозь ил и песчаные наносы.

До конца войны быть неприсмотренному и этому вот, самодуровскому, колодцу...

Шли теневой стороной: под ракитами, осинами, вязами, вишняком. Иногда на дорогу высывались ветви яблонь, с зелеными еще плодами. Один раз Даша не удержалась от соблазна, на ходу малость подпрыгнула и сорвала яблоко. Небольшое — в ладонке пряталось. Хоть им, решила, немного жажду прогоню.

Откусила кусочек яблока — сморщилась от кислоты, как от зубной боли. Кое-как, однако, прожевала, стала глотать, а яблоко в горле застряло. Даша давай кашлять, чуть не задохнулась.

— Отрава! — и выбросила остаток яблока в дорожную пыль.

— Вот так-то зариться на чужое добро! — съехидничал Митька.

— А я и не зарилась, — огрызнулась Даша. — Просто сравнить с карасевскими яблоками хотела.

— Заливай-заливай...

Митька повеселел за последний час-полтора. То ли конец дороги предвидел, то ли втянулся и не чувствовал тяжести. Как бы там ни было, но на плечи он теперь не жаловался. И все чаще поддразнивал Дашу: он это любил больше всего.

Кончилась деревня, и за околицей ветер пронес запах сухой скошенной травы — солдаты же, наверное, где-то поблизости сушили или копнили сено. Даша подставила ветру лицо: очень уж она любила этот запах. Каждое лето в такую вот пору она ездила с отцом да-

леко за деревню, в дубовую рощу, косить сено. Отец косил, а Даша ворошила. Когда сено подсыхало, Даша сгребала его в небольшие копенки и в минуты отдыха, упав на копенку, наслаждалась бесподобным запахом трав. Тут были и кашка, и душица, и овсяница, и ромашка, и фиалка, и зверобой, и прочие разные травы, названий которых Даша не знала. Приятно кружилась голова от густого травяного аромата, и Даша с неохотой поднималась с копенки, чтобы продолжать нелегкую сенокосную работу. Радость не покидала ее: впереди была ночевка на этом самом душистом сене. Темная звездная ночь, лесные крики непонятных птиц, странные шорохи в траве... В общем, впереди была сказка. Причем этих шорохов и звуков она не боялась: рядом находился отец. Даша обычно долго не засыпала, лежала с открытыми глазами и вспоминала, из какой сказки вот этот протяжный звук, похожий на волчий вой, из какой — вот это угрюмое уханье совы, из какой — вот эта соловушкина трель...

Ах, милое сказочное детство!.. Как скоро ты кончилось, ушло безвозвратно!..

Хотя — почему безвозвратно? Вот придет победа, вернется отец — и опять они пойдут на сенокос. И обязательно с ночевкой. Можно с собой взять еще и Сережку, если будет очень проситься. Пусть и он узнает лесную сказку. Заодно, глядишь, и косить, и грести сено научится...

Скорей бы сгнула проклятушая война!

Подумала: «Сегодня как увижу папку, так и скажу ему: «Ты после победы нигде не задерживайся, сразу — домой. И колодец, скажу, без тебя некому почистить, и сена мы не заготовили...» Значит, так. Надо все по порядку ему выложить. Первое — про кума и про куму; второе — про имя ребенку; третье — про возвращение после победы. Все? Вроде все. Да, может, пожаловаться все-таки на мать? Зачем она петуха зарезала? Он са-

мый сильный из всех соседских петухов был. А красивый!.. Не петух — огонь! С трудом от немцев его убергли, а она: «Давай зарежем, на людей, сатана, стал бросаться, не дай бог, еще глаз кому выключить». Никому он ничего не выключает, если не дразнить его. Курицу б лучше зарезали, квочку, например. Не послушалась меня, Сережку позвала голову петуху рубить. Сережке — все равно: что петуха жизни лишит, что котенка, что лягушку. Живодер какой-то... Теперь, папка, скажу, и будить нас некому: ни у кого из соседей часов нет. У Варвары были — поломались. Вот, скажу, уже нынче проспала. Спасибо тете Фросе — разбудила...»

Перед Соборовкой встретился неширокий ручей. Даша наконец-то напилась теплой безвкусной воды. Котмку не снимала, воду зачерпнула свернутым листом конского щавеля. Митька тоже напился. Напившись, неодобрительно сказал про воду:

— Болото. — И небрежно перепрыгнул через ручей.

Фрося не пила. Она только смочила горячий лоб.

— Быстрее, дети. Скоро уж, кажется, придем.

И посмотрела на солнце: высоко ли оно, много ли в запасе времени? Ведь нынче еще и возвращаться нужно.

ЕГОР

В тот ранний рассветный час, когда Фрося будила Дашу и ее мать, рядовой Егор Тубольцев заканчивал измерять — где шагами, где ручкой лопаты — только что вырытый окоп.

— Так, — удовлетворенно отмечал он вслух, — глубина в порядке — метр двадцать; ширина, — перешагнул через окоп, — тоже, не менее шестидесяти сантиметров.

Затем прошелся вдоль зигзагов окопа: широких шагов — восемь. Как и положено. Задание рядовой Тубольцев выполнил!

И он весело подмигнул — знайте, мол, наших! — серому небу, подолянскому низкорослому лесу, молодые дубы которого буйно зеленели по бокам глубокого лога, подступая к самой деревне.

Егор сделал несколько шагов по высокой росистой траве. Холодной росой он помыл руки, чуть замочив обшлага гимнастерки. Провел мокрыми ладонями по уставшему лицу. Хорошо... Не роса, а живая вода.

«Что там мои сейчас делают? — подумал. — Фрося наверняка уже на ногах, вся в делах-заботах. Да и Ольга уже не спит. Она еще раньше Фроси просыпается, а только лежит тихонько, боясь потревожить и Фросю, и детишек... Если б не война, я бы тоже Фросе помогал. Скорее всего — косил бы уже. Косить поутру, по росе — любимое дело. Трава ложится с легким хрустом, роняя серебряные капли...»

Егор вытер руки об обмотки, вернулся к окопу. Еще раз заглянул в него, источавший запах земли. Сказал про себя: «Служи, дорогой, верную службу русскому солдату, спасай от вражьего смертоносного огня наших бойцов». Теперь, после ночной работы (днем в целях маскировки рыть окопы было запрещено), полагалось и отдохнуть, поспать.

«День нынче будет жаркий, — глядя на высокие редкие облака, предположил Егор, — а в жару вряд ли хорошо поспишь». Только это слегка и огорчало. А в основном у него настроение было здоровое — настроение человека, в срок закончившего трудное, но нужное дело.

Егор взял лопату на плечо, сделал пяток шагов по направлению к деревне — и тут услышал свист шального снаряда.

Вот бы броситься тут ему назад, в только что вырытый окоп!

Залечь бы!

А он только присел...

Опоздала Фрося со своей иконкой...

МАКАР

Макар Алутин услышал взрыв, находясь уже далеко от Подоляни.

— Проснулись гады, — сказал он про фашистских артиллеристов.

Семидесятидвухлетний дед Петюков, лежавший на повозке, прошамкал ругательство своим беззубым ртом:

— Иуды... Ишкариоты...

Макар увозил из Подоляни последнего гражданского ее жителя.

В мае, при эвакуации, дед Петюков наотрез отказался покидать родные края. «Не страшна мне смерть! — упирался он перед армейским начальством. — А ешли умру — то на швоей земле. Не имеее права вывозить меня нашилно!»

И от деда Петюкова отступились.

Уже целых тридцать лет — с империалистической — деда мучил ревматизм. Чего только дед не придумывал, какие только отвары не пил, что только не прикладывал, у каких знахарей не побывал — ничего не помогало. У других людей с подобной болезнью лишь весной да осенью суставы ломило, а у Петюкова — почти круглый год. Или наоборот: весной и осенью его отпускало, а в жару и стужу корежило.

Вот и опять среди лета разболелись суставы, опухли, уже ни ходить, ни рук поднять не мог дед Петюков. Две ночи не спал. Пришлось солдатского доктора просить, чтобы подлечил.

А что доктор? Осмотрел, послушал — ревматизм. Дал какие-то таблетки и сказал: «Вам, отец, срочно в больницу нужно ложиться. Иначе — каюк». А дед: «Как ше я лягу, ешли наш район под врагом? А умирать не хочетша, до победы б неплохо дошить...»

Судили-рядили, порешили: вывезти деда от греха подальше в тыл, пока к его родственникам, в Лукашевку.

Это в двенадцати километрах от Подоляни. Военврач снабдил его лекарством и обещал, что оно деду поможет. Доставить деда Петюкова было поручено рядовому Макару Алутину.

И чуть свет они выехали: Макару приказано вернуться в распоряжение части сегодня же.

— Живей, милая, — погонял он ленивую пегую кобылку. Но ни добрым словом, ни кнутом не удавалось сбить лошадь с размеренного шага.

Дед Петюков зашуршал сеном — оно служило мягкой подстилкой, — простонал.

— Болять? — спросил Макар про суставы.

— Болять. Но пошле таблеток чуточку поменьше.

— Ну и хорошо. Потихоньку доедем.

И Макар примирился с предложенной кобылкой скоростью. Опустил вожжи и положил рядом с дедом ненужный кнут.

РОДИОН

Родион Алутин взрыва не слышал. Вчера он уработался: целый день шил комбату хромовые сапоги. Уже вечером вручил их командиру, и тот, примерив, остался весьма доволен мастерской работой.

Комбат Шестов был ровесником Родиона — тоже тридцати пяти лет, — но, как старший по званию и должности, отечески пожал руку рядовому:

— Уважил, что и говорить! Сроду таких сапог не носил: не жмут ни капельки. А голенища — гармошкой! И блестят — хоть вместо зеркала их используй. Уважил, рядовой Алутин! Ну что ж: я в долгу не останусь...

Родион стоял, опустив руки, и бессловесно улыбался, довольный похвалой.

— Иди отдыхай...

Вот почему и был у Родиона сон крепким и безмятежным — от хорошего душевного настроения.

ФРОСЯ, ДАША, МИТЬКА

Около пяти вечера Фросю, Дашу и Митьку остановил патруль. В полукилометре от Подоляни, от проходившей здесь первой линии обороны, остановил.

Все трое были немедленно доставлены в штаб батальона. Штаб находился в деревне, в хате-пятистенке, крытой толстым слоем соломы.

Шестов как увидел вошедших, так схватился за голову:

— А эти откуда?

Младший сержант доложил:

— Задержаны на дороге в деревню.

Шестов удивленно разглядывал каждого из непрошенных гостей и без конца повторял:

— Нет, как их пропустили раньше? Как они миновали Ольховатку? В такое время?! Да вы знаете, что за это будет?!

Кому «будет», Даша не поняла. Заметив, что Фрося оробела от грозных слов офицера (про Митьку и говорить нечего: в таких случаях он набирал в рот воды), Даша неожиданно для себя сделала отчаянный шаг вперед:

— Вы чего кричите? Мы к отцам пришли...

И Шестов осекся.

— Да нет, — вышел он из-за стола в своих блестящих сапогах, — вы меня не поняли... У нас запретная зона, сейчас посторонним находиться здесь категорически запрещено... Вот я и удивляюсь: как вас пропустили раньше, в Ольховатке?

— Очень просто пропустили, — спокойно ответила Даша. — Обыскали — и пропустили.

— Кошмар! — не верил в подобное комбат. — Без документов! Да за это знаете что может быть?.. Младший сержант, немедленно препроводить обратно!

У Даши похолодело внутри. Это что же: целый день

шли — и напрасно? В двух шагах от отца им указывают от ворот поворот?

Она кинулась к Фросе, ее душили слезы отчаяния:

— Ну хоть вы упрсите!

Фрося уже пришла в себя. Она сняла котомку, поставила ее у ног. Глядя в раскрасневшееся лицо Шестова, сказала:

— Хоть на минуточку, милый, разреши увидеться... На минуточку — и мы уйдем...

«Может, на колени перед ним упасть? — мелькнуло у нее в голове. — Быть рядом с Егором — и не увидеть его? Мыслимо ли это? Да он никогда и не простит. Да мои ноги обратно не пойдут...»

Но то ли силы покинули ее после долгой дороги, то ли грозный вид офицера подействовал, как бы там ни было, а Фрося почувствовала, что она больше не способна постоять за себя — ни лестью, ни нахрапом. «Вся надежда на Дашку», — подумала обреченно.

Комбат вернулся за стол.

— К кому хоть пришли? Фамилии?

Фрося с надеждой выпалила:

— Моего — Тубольцев Егор Григорьевич.

— Алутин Макар Герасимович, — вслед сообщила Даша и толкнула Митьку в бок: говори, мол, быстрее.

— Алутин Родион Михайлович, — тише всех сказал Митька. Шестов уставился на Митьку: послышалось что-то знакомое.

— Ну-ка, повтори громче.

— Алутин, Родион Михайлович, — повторил Митька громче, уставя глаза в земляной пол.

— Этого Алутина я знаю. Ты сын его, что ли?

— Сы-ын...

— Хороший у тебя отец, — более мягко заговорил Шестов. — Золотые руки у него... Младший сержант, Алутина ко мне! Из второй роты.

«Устрою Родиону свидание с сыном — и мы будем квиты за сапоги», — обрадовался комбат неожиданному повороту дела.

— А наших не позовуть? — со слезами на глазах спросила Фрося.

«Эта женщина к Тубольцеву... А ведь его сегодня утром...» — вспомнил комбат. Но сказать ей об этом не было сил. Представил, как она зайдет в крике, упадет в беспамятстве. Нет, пусть уж лучше обо всем из извещения узнает... В своей деревне...

Сказал холодно, словно не слышал вопроса:

— Вчера получен приказ свыше: посторонним на передовой находится категорически запрещено!

— Так мы же шли... Хоть на минуточку... Только сказать кое-что да вот передать, — подняла Фрося котомку.

— Через Алутина передадите, — отрезал Шестов. — Все, разговор окончен. Не хочу неприятностей...

И вдруг похолодел: а ну как рядовому Алутину про Тубольцева известно... И он проговорится... Не избежать тогда крика... Надо что-то предпринять. А что конкретно? Ага!

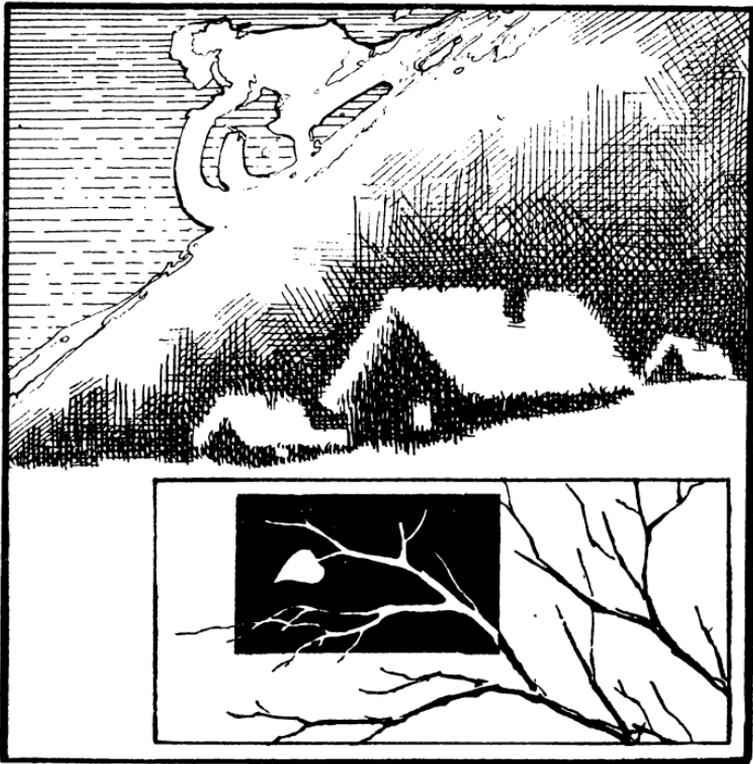
Срочно вернуть младшего сержанта: пусть он предупредит Алутина. Чтобы тот молчал. А передачу можно взять — и у этой тетки, и у девчонки.

И Шестов, никому не доверяя, сам выскочил из хаты — за младшим сержантом. Благо, он еще далеко не ушел...

Из прохладной хаты Фрося с Дашей вышли на душную улицу, придерживая друг друга — будто под коленями им подрезали жилы.

Втроем — Митька почему-то тоже недовольный — они встали под кустом ивы, недалеко от хаты, в ожидании Родиона...

Когда под утро они подходили к Карасевке, то услышали дальнюю сплошную канонаду. Это советские войска начали знаменитую в Курской битве артиллерийскую подготовку — на десять минут раньше противника.



**Самый
счастливый
год**

*Память моя, память, что ты
делаешь со мной?!*

В. Астафьев

ВСТУПЛЕНИЕ

— Ну, что у тебя нового? — наконец спросил Иван Павлович Журавлев и потянулся к темному вишневому варенью.

Я ожидал этого неизменного вопроса. Его задавал мой первый учитель при каждой нашей встрече. До чая мы обычно обменивались легким разговором: «Как до-ехал?» — «Хорошо». — «Где остановился?» — «У дяди». И лишь когда усаживались за стол, Иван Павлович принимался за основательную беседу.

— Неужто за год, что мы не виделись, ничего нового не произошло?

Я хотел пить, а чай был до того вкусный, что не мог я оторваться от него, не утолив жажду. А утолив, ответил:

— Вот в санатории побывал. Это не новость?

— Новость, — согласился Иван Павлович. — Подлечился?

— Подлечился.

— Отдохнул?

— Маленько.

— Почему же так — маленько?

— Вещицу одну дописывал. Сосед по палате — на танцы, а я — за стол. Все — в кино, а я опять — за стол. И так почти весь месяц.

— Это не гоже. В санатории ничем посторонним нельзя голову забивать, иначе лечение пойдет насмарку. Ну хоть дописал свою вещицу?

— Вроде бы. Вот привез ее вам показать.

— Мне? — искренне удивился Иван Павлович, будто бы я никогда не показывал ему свои скромные литературные работы. — Ну давай ее сюда, а то ты вечно торопишься, и я не успеваю прочесть.

— Успеете. Я вам рукопись оставлю, и вы потом пришлете ее. Хорошо? Только не стесняйтесь делать пометки, я обязательно прислушаюсь к вашему мнению: исправлю, вычеркну, допишу...

И вот примерно через месяц я получил пакет. В конце рукописи я обнаружил несколько тетрадных — в клетку — листков, исписанных ровным почерком Ивана Павловича. «Решил, чтобы не марать твое сочинение, да еще отпечатанное на машинке, — сообщал он, — изложить свои пометки отдельно, тем более, что они получились пространными. Для удобства я к каждой главе давал пометки отдельно, они, считаю, непринципиальны, нередко носят частный, личный характер, так что можешь на них вообще не обращать внимания».

Прочитав пометки, я растерялся: можно было и впрямь их не брать во внимание, но, с другой стороны, чувствовал, они приносили в повесть многое, чего я не знал и по разным причинам знать не мог.

1

Такие грозы бывают раз за лето и то не каждый год. Казалось, небо разламывалось на части, чуть ли не каждую минуту сверкали горячие молнии. И вслед за молниями раздавались оглушительные выстрелы, ино-

гда начинавшиеся нарастающим рокотом, но чаще — резко и внезапно.

И еще казалось, что в трещины расколото́го неба на землю сплошным потоком хлещет вода. Ливень затопил низины, выбивал в огородах картошку, бураки, капусту, огурцы, что пошли в хороший рост; по грядкам бежали ручьи, подмывая корни у прижавшихся к земле растений.

По оврагам, деревенским улицам неслись мутные ручьи, какие бывают разве что в разгар паводка. Неслись к Снове, нашей неширокой речке. Вода в ней поднялась, может, на целых два метра, а течение стало быстрым и небезопасным.

Текла Снова за огородами, подковкой огибая Хорошаевку. А с другого бока начинался заливной луг колхоза «Пролетарий» деревни Михайловка. Часть луга была отдана под пастбище совместного колхозного и личного коровьего стада.

Ни пастух, ни подпасок не заметили, когда случилось несчастье: они пережидали грозу и ливень в небольшой пещерке, вырытой мальчишками-гусятниками в крутом берегу. И лишь когда дождь начал переставать, а гроза — откатываться, пастух и подпасок вышли из укрытия и оба застыли в страхе: с края скученного стада, распластавшись, лежали три сраженные молнией коровы. Пастух сказал:

— Твою мать совсем, да чем же мне за них расплачиваться?

Две коровы были колхозные, третья — мужика Леонтия, многодетного инвалида войны.

О случившемся Михайловка узнала довольно быстро, сам пастух первым и сообщил. Прибежал к председателю колхоза Ивану Павловичу Журавлеву, запыхавшийся, в шапке, лицо то ли в каплях пота, то ли в дождевых каплях.

— Беда, Павлович, — сказал, едва переступив порог.

Журавлев как раз заканчивал обед, опустил в миску алюминиевую ложку, встревожился.

— Молоньей трех коров... — обессиленно присел на лавку пастух. — Я не виноват, ей-богу... Двух колхозных и Левонтия... Уж лучше б мою, чем его... Придется теперь свою ему отдавать, раз уж так... Заработал, мать твою. Говорила ведь баба: не зарись на это пастушество.

Иван Павлович встал из-за стола, подошел к пастуху, озабоченно помял подбородок.

— Ладно, иди к стаду, что-нибудь придумаем...

Пастух медленно напялил мокрую шапку, ни слова не говоря, вышел.

Журавлев ходил в раздумье по хате. Жаль колхозных коров, жаль. Было восемнадцать, теперь шестнадцать осталось. Из них четыре яловые. Пропадет теперь план молокосдачи, ни за что не вытащить его. И с пастуха ничего не взыщешь — стихия. Если бы он мог беду отвести, самого себя бы подставил: он мужик такой — болеет за колхозное добро.

А как с Леонтием быть? У него — шестеро детей, без молока они погибнут. Лето к тому же стоит голодное, июнь только, до июльской молодой картошки еще далеко. Без коровы не прожить Леонтию, никак не прожить... Пастух обмолвился: «Придется свою корову отдавать...» Так и у него ж четверо — мал мала меньше. Куда и ему без молока?

Выход один — Леонтию выделить корову. Из числа колхозных. План все равно не выполним, а семью спасем. Так завтра и объясню колхозникам на общем собрании.

Собрание было недолгим. А чего тут рассусоливать? Надо кормить детей Леонтия и пастуха? Надо. Ясно и без слов. Потому и быстро приняли решение, единогласно поддержали колхозники предложение своего председателя.

Родовались такому исходу дела пострадавшие, радовался и Журавлев. И когда он вскоре поехал в район на какое-то очередное совещание, по неопытности своей возьми да и похвались одному руководящему товарищу, как в «Пролетарии» заботятся о рядовых колхозниках. Думал: наверняка похвалят, в пример поставят. Ан черта с два! Руководящий товарищ как услышал о решении собрания, так и по щекам себя похлопал:

— А ну, Журавлев, повтори: не ослышался ли я насчет разбазаривания колхозного добра?

Иван Павлович и в мыслях не мог предположить, что не так его поймут, как он думал. Потому с еще большей наивностью сказал:

— Вы, надеюсь, пошутили, говоря о разбазаривании... Эх, если б вы видели, какими счастливыми выглядели после собрания Леонтий с пастухом! Жали мне руку и без конца благодарили. А чего меня благодарить? Это народу надо спасибо говорить, он поделился своим добром.

Руководящий же товарищ побагровел от негодования:

— Да ты хоть отдаешь отчет в своих действиях? Ты согласовал с нами? Да за такие вещи — под суд мало отдать! Ты государство подрываешь!

— Да не подрывал я. Мы ведь из добрых побуждений корову отдали инвалиду войны. Разве спасение детшек — это подрыв государства? Я думаю, наоборот.

— Молчать, анархист! Вот на исполком вызовем — там тебе и покажем, как надо думать в данное время члену партии большевиков.

Всю дорогу из райцентра до Михайловки Журавлев искал крамолу в своих поступках. Но не находил: во-первых, хозяин движимого и недвижимого колхозного имущества — сам колхоз, он распоряжается им по своему усмотрению. Во-вторых, ради детей председатель старался, ради советских детей, которым возрождать

богатство страны, коммунизм строить. Неужели, размышляя далее Журавлев, на исполкоме меня не поймут? Поймут, живые люди там будут сидеть, а не такие вот ходячие столбы.

Он не опасался за себя. Давно уж просился в школу, однако его уговаривали: некого больше ставить председателем, потерпи до лучших времен. Так что, если его снимут с председателей, он только спасибо скажет.

Беспокоило другое: вдруг отберут корову у Леонтия?

Дня через два явился с проверкой представитель райфинотдела, после чего Журавлев был вызван в исполком. Он ехал уверенный в своей правоте. На всякий случай мысленно составил план отчета, ответы на всевозможные вопросы, касающиеся переданной в личное пользование колхозной коровы...

Вопреки ожиданию, его не сняли, а только дали выговор; корову же оставили за Леонтием.

Вышел из исполкома — солнце в глаза, озорно купались в уличной пыли воробьи, невдалеке, в железнодорожной посадке, предвещая людям долгую жизнь, куковала кукушка. В огородах бело-фиолетовыми цветочками начинала зацветать картошка — близился конец трудному несытному времени.

Радоваться бы сейчас погоде, благополучному исходу заседания (хотя Журавлев и мечтал о снятии, а все же таилось в нем и другое желание: лучше все-таки уйти с поста по-хорошему, чтобы не было среди людей лишних разговоров), но тяжесть с души не спадала. Завтра опять впрягаться в тяжелый председательский воз, груженный одними и теми же заботами: надои, сенокос, уборка конопли, жатва, посев озимых... А он еще на фронте так мечтал о школе, о ребятах. У него ведь до войны неплохо получалось учительское дело. Сам строжайший и придирчивый заведующий школой Василий Тимофеевич Мосин отмечал его педа-

гогические наклонности, большое будущее предсказывал.

Нет, надо снова идти в райком и проситься в школу. Только там он найдет удовлетворение, только там понастоящему покажет, на что способен. К тому же у него есть маленькая зацепка: он слышал, что в Болотном, в той школе, где начинал, освободилось место учителя.

И Журавлев повернул к райкому, отнюдь не питая радужных надежд.

К счастью, первый секретарь был на месте, в который раз он выслушал настырного председателя «Пролетария», в душе сочувствуя ему, а на деле...

— Замена есть? — в упор спросил секретарь.

Замена? Об этом Журавлев как-то не думал, надеялся, что райком сам найдет замену.

— Со стороны мы прислать можем, да только не всегда это надежно — со стороны... В общем, так: подбери кандидатуру, созывай собрание, будем решать, раз ты не можешь жить без школы.

Ну что ж, придется искать замену.

Жил у них в Михайловке хозяйственный непьющий мужик Бельчиков. Вот только ранение у него в грудь, в легкое, болеет он частенько. Ну да ничего, не вилами же будет работать Бельчиков, а руководить.

Чего греха таить, перед собранием Журавлев подговорил нескольких мужиков, чтобы они первыми подали голос за избрание нового председателя.

И все бы решилось, как Журавлев и намечал, но, когда подговоренные мужики из разных концов колхозной избы, где проходило собрание, начали нестройно выкрикивать: «Освободить Журавлева! Новый не хуже потянит!» — к столу президиума вдруг прошел Леонтий, повернулся к колхозникам и, рубанув ладонью воздух, решительно сказал:

— А я против, чтобы мы отпускали Павловича! Мы все его с малолетства знаем, он нас знает — что еще

нужно? Уважение? Есть ему уважение — спроси любого: А доброту его я на себе испытал...

Подговоренные мужики притихли, растерялись: не станешь же перечить Леонтию, коли он истинную правду говорит. А тут еще бабы поддержали Леонтия:

— Зачем нам новый, нас и старый устраиваить?

— Не отпускаем!

— Не отдадим Павловича!

А когда Журавлев увидел, что к столу пробирается — вслед за Леонтием — пастух, понял: дело провалилось. На всякий случай шепнул представителю райкома — молоденькому парню:

— Если произойдет осечка, переноси собрание на завтра.

Так инструктору и пришлось поступить — благо, сам он в прошлом учитель и отлично понимал Журавлева. Он решил помочь ему. Дипломатично закончил собрание:

— Тут, товарищи колхозники, разные мнения среди вас были: одни — «за», другие — «против». Чтобы нам не пороть горячку, чтобы прийти к единодушному мнению (что же это будет за председатель, если его выберут не единодушно?), предлагаю всем вам еще раз подумать, все взвесить, а завтра мы окончательно и решим вопрос с председателем.

Сутки оставались на размышление у колхозников (а что размышлять: «против» высказались только подговоренные). Сутки оставались на размышление у Ивана Павловича (размышлять же ему было нечего: он твердо решил уходить в школу).

«Не отпустят, — злился он, — как пить дать, завтра за меня проголосуют — чувствую по настроению людей». В таком случае надо действовать! Еще раз нелишне поговорить по душам с мужиками, объяснить им: мол, место учителя освобождается не каждый день, — пообещать... магарыч.

...До полуночи он обходил дворы колхозников, да и на следующий день вел с ними беседы-уговоры. Больше с мужчинами, с подростками. Женщины его понимали плохо, магарычом же их не прельстишь.

Повторное собрание просьбу Журавлева удовлетворило, и он тут же, на собрании, передал Бельчикову колхозную печать.

ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА

Ну и память у тебя! Лет пятнадцать назад рассказывал тебе, как я стал учителем вашего класса, а ты почти все до подробностей воспроизвел.

Кстати, почему ты никак не называешь пастуха? Тихон Андреевич его имя-отчество.

А фамилия инструктора райкома — Ульянов. Ныне он — директор школы в Рыльском районе.

Недавно был в Михайловке (редкий я там гость, как переехал в пятьдесят пятом году в Болотное), встретил Леонтия. Ему восемьдесят два года, еле ходит, слабо видит старик, а меня узнал. «Зря все же, Павлович, — говорит, — мы тебя с председателей отпустили. Это все мужики виноваты, добра им нетути, на магарыч клюнули...» И еще раз за корову благодарил.

2

Завтра мы с Пашкой Серегиним идем в первый класс, с завтрашнего дня перестаем курить и матюкаться. Напоследок же решили отвести душу — вдоволь накуриться. Мы забрались в двухметровую густую коноплю, что росла за нашими огородами, — подальше от людей. Пашка стащил дома несколько свежесушенных табачных листьев, я же принес пяток спичек и квадратик спичечного коробка, пожелтевшую мягкую бумагу,

найденную на божнице, — какую-то квитанцию за налоги.

Мне — восемь лет, Пашке — девять. Я мал ростом, тяжеловат, карапуз по сравнению с ловким жилистым другом. Правда, он редко меня побарывает — я все-таки потяжелее его, — но в беге наперегонки мне с ним тягаться трудно. Проворнее меня лазит он по деревьям, ныряет с берега, ездит на лошадях. Но и я кое-что умею делать лучше Пашки, и это не позволяет ему верховодить. Я уже свободно читаю, а он даже буквы не все знает, я брату письма пишу (он в ремесленном училище учится), а Пашка и ручку-то держать не умеет.

А еще я лучше его скручиваю сигарки. У него то бумага посередине лопается; то такая горбатая сигарка получается, что ее ни за что не скленть. У меня самокрутки выходят как фабричные: ровные, тугие. Я обычно сначала Пашке скручиваю, потом себе — это если табака хватает, как сейчас. А когда его мало, то одной сигаркой обходимся. Половину Пашка выкурит, половину — я. Или по очереди затягиваемся.

Но сегодня, перед первым сентября, надо накуриться всласть. Табак из одних листьев крепкий, ну да это не страшно: мы уже с год курим по-настоящему, взятяжку. Знаем: крепачок, чтобы не задохнуться, надо курить с умом — не стоит жадничать, весь дым заглатывать. Чуюток выпусти, чуюток вдохни, и ничего не стрясется.

У Пашки выступили слезы, он матюкается на злой дым, что настырно лезет в глаза, цвиркает сквозь редкие зубы слюной. Я курил без слез, но тоже ругался — просто так, от нечего делать. Хорошо сидеть в конопле, тихо, тепло. Над нами — солнечное небо с редкими белыми облаками, беззвучно порхают бабочки.

Вкусен предосенний табачок, приятно чуть кружится голова.

Я лежал на поваленной конопле, смотрел на причудливые, похожие на диковинных зверей, облака. Иногда

с шумом пролетали стайки воробьев или скворцов — кормиться зернами конопли...

Хорошо...

И хотелось завтра в школу идти (не чаял, когда восемь лет исполнится), и тоскливо становилось на душе при мысли о том, что теперь нам с Пашкой нужно остерегаться не только наших домашних (ему, главным образом, — матери, мне — старшей сестры Даши, что растила меня), но и учителя Ивана Павловича Журавлева. Мы его еще и в глаза не видели, а уже наслышаны о нем: и строгий он — узнает, что кто-то курит или матюкается, за уши отдерет, а то и вообще из школы исключит; и справедливый он — девчонок в обиду не дает, слабого защитит.

Что касается девчонок, то мы с Пашкой их не трогали, а вот вдвоем на одного нападали — особенно, если мальчишка был с другого конца деревни. Могли пинков ему надавать, могли в крапивный ров столкнуть...

Теперь всему этому наступит конец.

А впрочем...

— Слышь, Паш, — обращаюсь я к другу, — а откуда это известно, что Иван Павлович такой?

— Мне Гаврик говорил. Его Журавлев до войны учил.

— Это ж когда было! — с надеждой на лучшее сказал я. — Теперь он, может, изменился.

— А если не изменился?

— Тогда — хана... Ладно, давай еще по одной выкурим — и бросаем.

ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА

Это верно: преподавать я начал в тридцать девятом году — после окончания Курского педучилища. Кажется, учил и Гаврика Серегина. Было мне тогда... ну-ка прикину... восемнадцать лет. Только не

считал я себя строгим, за уши никого не драг, хотя порой и стоило... А вот за девчонок ребят отчитывал — что верно, то верно. А строгим я не успел стать: пришла повестка из военкомата, и попал я вскоре в Тульское оружейно-техническое училище.

Так что пугали моей строгостью вас, моих будущих учеников, зря.

3

Вечером я наконец отпарил на ногах всю летнюю грязь (цыпки вывел еще раньше, намазав ноги обыкновенным солидолом).

Долго не мог уснуть, представляя, как я завтра, одетый в новую рубашу, в новые штаны, сшитые из покрашенных портянок (брат-ремесленник подарил), обутый в новые матерчатые тапки-ходаки, пройду вдоль деревни с холщовой сумкой наперевес. А в сумке у меня карандаш и целых две тетрадки — в клетку и в косую линейку. И станет мне завидовать встречная малышня, те, кому еще нет восьми, как я завидовал первоклассникам в прошлом (да и в позапрошлом) году.

А когда я уснул, то приснился мне страшный сон. Будто подошло время идти в школу, а у меня ноги оказались неотпаренными. Все мои три сестры в один голос причитали: «На такие ноги — новые носки? Ни за что! А без носков в школу не пустят. Давай снова садись над корытом, вот тебе мочалка, начинай оттирать грязь. До следующего сентября, может, ототрешь».

Я вскочил весь в холодном поту, чуть не упал с лежанки. Сердце мое часто колотилось. Было темно. Под печкой стрекотал сверчок. Я вытер одеялом лоб, немножко успокоился: «Слава богу, что это — приснилось».

Долго ворочался, а когда задремал, то опять снилась всякая чепуха: сторож, поймавший меня в колхозном

саду; катание верхом на лошади и будто бы я упал с нее; курение в конопле, где Пашка окурком якобы прожег мне дырку на новых — школьных! — штанах. От последнего сна снова вскочил. Уже рассвело, и я ложиться не стал. Умывался под глиняным умывальником, подвешенным на цепочке к матице.

Увидев меня, Даша удивленно спросила:

— Ты чего так рано? Только коров прогнали...

Я ничего не ответил и принялся надевать заветные обновки:

В печи от подожженных сухих ракитовых веток разгорался торф. Лицо сестры, мне показалось, было сегодня необычно добрым, просветленным, будто не я собирался в школу, а она. Или моя радость ей передалась? Похоже, похоже.

Вошла соседка тетя Дуня. Увидев меня, всплеснула руками:

— Жених — и только! Свататься, что ли, собрался?

— В школу, — с нарочитым равнодушием ответил я.

— В школу? — изумилась тетя Дуня, хотя, понятно же, прекрасно знала, по какому поводу я приоделся. — Учиться, значить, идешь?

— Иду.

— А не бросишь? Мой дед говорить: учеба — это тебе не фунт изюму. Трудная, говорить, штука. Я не пробовала — не знаю. А он знать: всю жизнь учителем. Можить, уж не ходи, если бросишь, штаны с рубахой целее будуть — зачем их протирать?

То ли, по обыкновению, разыгрывала меня тетя Дуня, то ли серьезно говорила. На розыгрыш не похоже: серьезность была у нее на лице. Но только зачем пугать? Уж не такое, видимо, это тяжелое дело — учеба. Вон все учатся — и терпят. Большинство, правда, после начальной школы дальше не идет. Но, может, и начальной мне хватит? Поживу — увижу. Так что не страшай, тетя Дуня, не страшай: «Не фунт изюму...»

Школа находилась в трех километрах от нашей Хорошаевки — в соседней деревне Болотное. Кирпичное здание, еще дореволюционной постройки, стояло в верхнем конце деревни. Там, в двух классных комнатах, были настоящие парты — на два человека, с наклонными столами, с желобками для ручек и отверстиями для чернильниц. Учились тут старшие — третьи и четвертые классы.

Первачки и второклашки ходили на другой конец Болотного, где в заброшенном саду стояла обыкновенная хата, крытая, правда, не соломой, а железом, внутри переделанная под школу: была убрана русская печь и сложена большая квадратная плита. Вместо парт здесь стояли два ряда длинных — на четыре человека — столов с крестообразными ножками. Столы были сколочены грубо, между узких досок — зазоры до сантиметра. Так что во время писания тетрадь на зазоре прогибалась, и с перышка нередко прыгивала капелька чернил — очередная клякса.

Сидели ученики на шатких, отполированных штапишками и платящими скамейках. И стоило одному привстать, пошевелиться, как скамейка теряла устойчивость и трое остальных, опять же во время писания, если не сажали кляксы, то вместо букв или цифр выводили в тетрадках каракули.

Но это позже стали нам известны все преимущества настоящей школы и неудобства нашей. Пока же мы, сорок четыре ученика, смиренно сидели за столами, уставясь глазенками на учителя — Ивана Павловича Журавлева. Рассадил он нас по росту: самых маленьких — в первый ряд, кто повыше — во второй. Чередовал: мальчик, девочка, мальчик, девочка. За нашим столом оказались: Верка Шанина, Мишка Казаков, Валька Заугольникова и я (у окна).

Пашка Серегин сидел далеко сзади, на последнем ряду.

Рассадила нас Иван Павлович и начал урок:

— Сегодня, ребята, вы стали школьниками. Отныне вся ваша жизнь подчинена одному большому делу — овладению знаниями. Я научу вас читать и писать, считать и рисовать, вы узнаете, почему день сменяет ночь и отчего летом идет дождь, а зимой снег, куда улетают птицы и как растут деревья... Все это вам пригодится потом, когда вы станете взрослыми...

Иван Павлович — высокий, стройный, красивый. Волосы у него гладко причесаны назад, на левом виске виднеется белый шрам, — видеть, от ранения. Да, точно, от ранения. Даша как-то рассказывала, что его в первые дни войны ранило — в голову.

Волнуясь, иногда запинаясь, чистым голосом говорил Иван Павлович. Слушая его, я одним глазом заметил, как под самым окном затеяли драку два воробья — словно маленькие петушки насакивали друг на друга. Посмотреть бы, чем окончится драка, но Иван Павлович, мне кажется, глядит именно на меня, и стоит мне чуть повернуть голову, как получу замечание. Подумал: «Неужели так вот — неподвижно, руки на столе, голова прямо — сидеть из года в год, пока не выучишься и не станешь большим?»

А воробьи, гляди-ка, как озоруют! Уже с десяток собралось возле дерущихся и шумно подзадоривают их — точь-в-точь как бывает среди нас, ребятни.

Я не выдерживаю и поворачиваю голову.

— ...Надо привыкать слушать учителя внимательно, — как бы между прочим говорит Иван Павлович, и я еще не догадываюсь, что эти слова обращены ко мне. — Нельзя вертеть головой, иначе все сказанное мной будет в одно ухо влетать, из другого вылетать, и вы ничему не научитесь...

По классу пронесся легкий смешок, я мигом оторвал взгляд от воробьев и, как ни в чем не бывало, посмотрел в глаза Ивану Павловичу. Он покачал головой: не-

хорошо, мол, отвлекаться. Я застыдился, покраснел, а он продолжал вести первый наш урок: начал объяснять правила поведения. Я напряг слух и вскоре усвоил, что в классе мы должны: приветствовать учителя вставанием, а не криком «Здравствуйте!»; поднимать руку, если о чем-нибудь захочешь спросить учителя; не разговаривать на уроке друг с другом; все задания выполнять самостоятельно.

Вне класса необходимо помнить о том, что мы школьники. А посему:

со старшими при встрече здороваться первыми;

обращаться к старшим на «вы»;

уступать пожилым людям дорогу, быть всегда и везде с ними вежливыми;

не выражаться плохими словами;

не обижать девочек;

не брать пример с тех старших, которые курят...

Вот это да!

Мы с Пашкой, выходит, уже взяли плохой пример? А Вовка Комаров не курит — значит, лучше меня? И верно: он тоже, как и я, умеет читать и писать, но, говорят, еще и складывать может. Я лишь немножко могу, на пальцах. А Вовка складывает числа в уме. Ему, выходит, быть отличником, а не мне...

Ничего не поделаешь, придется от плохих привычек отвыкать, надо догонять Вовку. Я тоже хочу ходить в отличниках!..

— А теперь — перемена, — объявил Иван Павлович, но никто не встал со своего места, не понимая, чего от нас хочет учитель. — Перемена! — сказал он громко. — Идите гулять...

Из школы я шел с Пашкой Серегиним. Вовка Комаров со своими дружками убежал вперед, девочки плелись сзади. А мы шли простым шагом — ни скоро, ни медленно. Со всеми встречными громко здоровались,

как научил нас Иван Павлович. Крикнем: «Здравствуй-те!» — а сами хохочем. С нами по-доброму здоровались знакомые и незнакомые, приговаривали: «Что здороваетесь — молодцы, только зачем же смеяться?!»

Шли, болтали, лягушек спугивали (дорога наша лежала у подножия бугра, откуда начиналось торфяное болото).

С болота тянуло сыростью, а с бугра — теплым запахом конопли и картофельной ботвы.

Холщовые сумки шлепали нас по тощим задам.

Впереди виднелась фигура человека, медленно идущего в сторону Хорошаевки. Присмотрелись к одежде — выгоревшая стеганая фуфайка, а на ногах — глубокие шахтерские галоши, на голове — старая кубанка с бледно-красным полинявшим крестом сверху. Узнали: конюх дед Степан. Он кубанку и летом не снимает. И галоши у него незаменимые (сын в Донбассе работает, снабжает галошами).

Я просиял и хлопнул в ладоши:

— Следим!

Пашка, конечно, догадался, что означало это «следим!», и мы прибавили ходу. Дело в том, что дед Степан был в нашей деревне самый заядлый курильщик. Папиросу из зубов не выпускал. Досмаливал одну, тут же скручивал другую, а прикурив от окурка, отбрасывал его в сторону. Мы не раз уже пользовались неосмотрительностью конюха, подбирали окурки и, обжигая пальцы и губы, вдоволь накуривались крепким — невпродых — самосадам.

Вот и теперь представился случай.

Но Пашка вдруг схватил меня за руку:

— Нельзя ведь нам теперь! Иван Палч что на уроке говорил?

— Последний раз...

— Не, я не буду курить.

— А я...

Не успел я договорить, как заметил, что дед Степан щелчком выбросил окурочок в придорожную жигуку. Я кинулся туда, как коршун за цыпленком.

Осенняя злая жигука ожгла мою руку сквозь рубашку, но я все-таки дотянулся до заветного дымящегося окурочка. Оторвав заслюнявленный конец, сделал первую сладкую затяжку.

И не успел я выпустить дым, как услышал за спиной голос:

— Так-так, покуриваем, значит...

Голос Ивана Павловича!

Бросил под ноги окурочок, успел наступить на него, попытался прикинуться невиновным:

— Не, мы не курим, это вам показалось.

А у самого изо рта дым валит.

— А вот обманывать совсем нехорошо. — Иван Павлович поравнялся со мной, положил мне руку на плечо. — Я ведь все видел.

И он ускорил шаг (жил Иван Павлович в Михайловке, что километром дальше нашей деревни).

Я готов был от стыда сквозь землю провалиться. Что теперь будет? Иван Павлович, конечно же, сейчас обо всем расскажет Даше. Та в свою очередь как следует выпорот меня — веревкой, еще хуже — лозинкой.

Ну, а если учитель не сочтет нужным заходить к нам и возьмет да исключит меня из школы? Что я буду делать тогда? Кем я стану? Куда пойду? Волам хвосты крутить?

Пусть лучше Иван Павлович встретится с Дашей, нажалуется!

Пусть она отлупит меня!

Только бы после первого же дня не исключили меня из школы!

А с курением — покончено! Голову на отсечение даю.

Я плелся, потупив взгляд, кусал губы, а Пашка шел рядом и весело насвистывал.

ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА

В целом верно описан первый учебный день. Я его тоже хорошо помню — волновался больше вас, учеников, готовился к нему, как к великому испытанию: ведь восемь лет не преподавал — то война, то председательство. Даже опасался: а вдруг ничего у меня не получится, растеряюсь перед вами, спасую.

Так что скажи где-нибудь про мое волнение. И речь я не так уж гладко перед вами держал, как ты ее преподносишь, а сбивался часто. Коряво, в общем, говорил.

Случай, когда я тебя поймал с окурком, не помню.

Второй раз ты упоминаешь о боязни быть исключенным. Но разве ж это возможно было, да еще в первом классе?! К тому же учитель не исключал... Теперь-то я убедился, что вас запугивали, чтобы вели себя поспокойнее. Вы ведь не очень-то воспитанными ко мне пришли. Да и кто вас мог воспитывать? Матери целыми днями — на колхозном поле или на ферме. А отцы... У тридцати одного из сорока четырех — на всю жизнь запомнил! — не было отцов.

4

К моему счастью, когда я вернулся домой, Даша была на работе. Дома оказалась только Надя, тринадцатилетняя сестра. Самая любимая из трех сестер. Почему? Никогда не обидит, не накричит, а если попросишь о чем-нибудь промолчать, промолчит, не наядбедничает Даше.

Повесив сумку на ручку входной двери, я, смурый в душе, вразвалку побрел на огород: там Надя выкапывала картошку.

— О, школьник явился! — повернулась ко мне Надя, оставив лопату. — Ну, рассказывай, чему там тебя научили. Ты чего такой невеселый? Кто обидел?

Чувствую: Надя о случившемся не знает, Иван Павлович, похоже, не заходил, не жаловался. Я немного воспрянул духом.

— Что молчишь? Чему научили-то?

— Как правильно сидеть.

— И все?

— Здраваться теперь нужно. А еще — взрослым помогать...

— Это дело! Давай тогда бери ведро и помогай. Вон я сколько картошки накопала!

Я взял ведро и начал собирать картошку — с начала грядки. Подбирал крупную, мелкую, меньше голубинового яйца, оставлял. Ее ни очистить, ни в мундире сварить...

— Всю подбирай, — сказала Надя, — вон прошлой весной и мелкой были бы рады, да негде ее было взять.

Не слышалось сегодня в ее голосе привычной мягкости, веселости. Были озабоченность и обида. Озабоченность — это, должно, от воспоминания о голодных весне и лете. А обида? Откуда обида? Уж не потому ли, что в пятый класс ее Даша не пустила? В Болотном только начальная школа, а Наде нужно было бы теперь учиться в Нижнесмордине, за шесть километров, — там средняя. Но одеться и обуться Наде не во что, всего одно платье у нее и рваные галоши к зиме. Мне да Таньке, еще одной сестре, что в четвертый класс пошла, на обновки Даша еле денег наскребла. Пенсия за погибшего отца маленькая (он рядовым был), с ней не разгонишься. Вот и решила Даша: пусть Надя дома сидит, хватит с нее образования. В колхоз ее, правда, пока не запишут, но обещала одна женщина с железнодорожной станции взять Надю нянькой. За работу будут Надю кормить-поить, может, из одежды что сошьют, а также денег сколько-то...

Жалко мне Надю. Вчера когда она мне помогала отмывать ноги, то даже заплакала: «Вы в школу идете, а я...» Жалко, что уйдет она к кому-то жить. Кто меня будет защищать от Дашиных веревок и лозин, кто в драке с Танькой меня будет поддерживать?

— Надь, — окликаю я сестру, — можить, в няньки не пойдешь?

Она присела, погладила меня по белобрысой голове.

— Я бы и рада, да там я хоть хлеба наемся. А дома ведь опять одна картоха. Вон полтора пуда ржи Даша получила — куда с ней? А вам без меня больше достанется...

— Да ты чего, Надь, голосишь?

— Я не голосю, — вытерла она рукой глаза. — Я просто голодовку вспомнила... А ты всю картоху собирай, даже самую маленькую, — пригодится... Потом: я недалеко буду жить, проводить вас стану. Ты учись только хорошо. У нас в семье все хорошо учились: и Даша, и Леша (это брат мой), и я, и Танька молодец...

— Ладно, постараюсь.

Звенит ведро — я картошку двумя руками бросаю в него. Как доверху наберу, ссыпаю в кучу. Сортировать потом будем. Покрупнее — в яму закопаем, на зиму. Помельче — в подпол.

Крупной картошки мало, в основном — с куриное яйцо. Да и откуда крупной вырасти? Своя картошка у нас еще в марте кончилась, огород кое-как засадили чужой, выменянной на рушники да холстину, что остались после смерти матери. Каждую картофелину разрезали на несколько частей. А ведь мы, деревенские, смальства знаем: что посеешь — то пожнешь. От одного глазка десять картошек не вырастет.

Но, может, в этом году хватит нам картошки? На едока ведь меньше будет.

Позванивают стенки ведра, идет работа полным ходом. Помогаю Наде, стараюсь изо всех силенок.

... А что там желтенькое блесит во взрыхленной земле?

Я ковырнул пальцами и — вот это находка! — целая обойма винтовочных патронов. Пять штук! Вытащил из обоймы один патрон, посмотрел на пистон: красный кружок горел, как новенький. Я спрятал патроны за пазуху, а то еще Надя заметит и отнимет: патроны — не игрушка, это мы, ребята, знаем. У меня уже не раз отбирали патроны и Даша, и Надя: их, патронов, с войны на огородах и в садах много осталось.

Пять штук! Вот это удача! Надо патроны подальше спрятать. За стреху — это надежно. Там я обычно табак в тряпице прячу, спички, кресало.

Назавтра во время первой перемены Иван Павлович подозвал меня к себе и тихонько, чтобы никто не слышал, сказал:

— Еще замечу с папиросой — губы отобью. А потом жалуйся хоть самому министру. Кто тебя, кстати, курить научил?

У меня навернулись слезы.

— Сам. Я от больших ребят слышал, будто после курения есть не хочется. Попробовал — правда. Вот и научился... Но больше не буду.

Иван Павлович для вида кашлянул два раза, на удивление мягко сказал:

— Понятно... В общем, поменьше слушай больших ребят: они иногда и разные глупости говорят... Иди гуляй.

ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА

Неужели я так и сказал: «Губы отобью!»? Видно, еще тот педагог я был попервоначалу.

А курить ты так и не бросил. Пять лет я тебя учил, пять лет выворачивал карманы с самосадом.

Писать, читать, считать я умел, а большинство ребят только изучали азбуку, выводили элементы букв и упражнялись в счете до десяти. Учился я легко, домашние задания выполнял быстро и вместе с Вовкой Комаровым да еще двумя-тремя девчонками вскоре стал получать пятерки.

Радовался я, радовались сестры.

Только и беда подкрадывалась.

Летнее тепло все заметнее отступало, все явственней ощущалось приближение осени. Собравшись в огромные стаи, улетали скворцы, уносились на юг журавли, дикие гуси, утки. Деревья стряхивали побагровевшие листья.

Убраны с огородов картошка, бураки. Только одни капустные кочаны сидели на грядках и наливались последним — самым, должно быть, сладким — осенним соком земли.

Стало холодно ходить в рубахе и штанах, надетых на голое тело (трусов и маек мы тогда не знали). Да на беду еще беда: отвалились подошвы у моих тапочек-ходаков...

В то утро, подкрашенное восходящим солнцем, я взглянул в окно и замер в растерянности: трава была покрыта инеем. А, кроме ходаков, другой обуви нет. Что хочешь, то и делай.

И вот, собравшись в школу, я сел за стол босиком.

— Ты чего без ходаков? — спросила Даша.

— Подошвы оторвались.

— Во, враг, а что ж ты молчал?

«Враг» — любимое ее словечко.

— Забыл.

— Сиди нонче дома.

— А школа?

— Не пойдешь же разутым?

— Пойду.

— По инею?

— А что? Он растаить скоро.

— Заболеть захотел? Не пушу, и все.

Было бы сказано, а забыть недолго. Когда Даша пошла за водой к колодцу (он метрах в ста от хаты), я схватил сумку с тетрадками да букварем и — бегом в школу. Выскочил за деревню, не ощущая холода, и только за деревней, запыхавшись, пошел шагом.

Глянул на босые ноги — красные, как у гуся лапки. Пальцы, подошвы жгло холодным огнем, в них покалывало множество иголок.

Шагом идти, вернусь, было нельзя: заколовою окончательно, вернусь. А какой же я буду отличник, если уроки начну пропускать? Отстану от Вовки, да и Иван Павлович может наругать. Это не причина, скажет, — отсутствие обуви, вот некоторые с самого первого сентября необутыми приходят на занятия.

Собрался я с духом и побежал. Бежать старался по вытоптанной тропке, но иногда ноги мне не подчинялись и я ступал в покрытую седым инеем придорожную траву.

«Только бегом, — подстегивал я себя, — иначе совсем замерзну и — права будет Даша — простужусь».

Дышал ртом, горло пересохло, под лопатками покалывало от частого дыхания. Но вон уже видны и первые хаты Болотного. Вон видна красная крыша школы...

Явился я в числе первых. Эти первые — Мишка Казаков и Петька Хохлов из Болотного, Витька Долгих, наш хорошаевский малый, — были тоже босыми. Значит, я не в одиночестве и стыдиться своих голых ног мне нечего. Да и какой стыд? Многие обуты как зря, не в свою обувку, а в ту, что дома нашлась.

Ноги отяжелели, казались деревянными. Не о стыде надо теперь думать, а о том, как согреть их. Вон сосед мой по парте, Казаков, тот поджал ноги под себя, усев-

шнень на скамейку. Что ли, и мне так? Дай-ка попробую...

Потихоньку-помаленьку подходили другие ученики.

Ноги согривались. Сидел и радовался: а ловко я из дома удрал!

Вот в класс вошел Пашка Серегин. Он обут в галоши со множеством приклеенных заплаток, а вместо носков у него — легкие портянки.

— Ты чего не подождал? — это он у меня спросил.

— Я сбежал: Дашка не пускала.

— А у меня жмых есть.

— Дай.

Пашка ехидно прищурил глаза.

— За пять шелобанов.

Я его слова принял за насмешку, издевательство. Ах ты, гад такой!

— Пропади ты пропадом со своим жмыхом! — выпалил я в сердцах. — Я тебе этот жмых припомню...

Пашка, поняв, что унижить меня не удалось, дружелюбно сказал, вытаскивая из сумки кусок желтого конопляного жмыха:

— Я пошутил, а ты разъерепенился. На, ешь.

Что делать? Взять жмых (я так люблю, помаленьку откусывая, медленно сосать его!) или показать характер, чтобы Пашка в следующий раз не задавался, не мнил себя богачом (жмых приносит его брат, работающий на колхозной ферме)? Под ложечкой сосет, и за себя постоять охота. Что делать?

И я отстранил его руку с куском жмыха.

— Сам ешь, но я тебе припомню...

— Обиделся? Пошутил я...

Давай, друг ситцевый, выкручивайся, так я тебе и поверил! «Пошутил!» Жмых ведь ворованный, а ты еще изгаляться надумал: «За пять шелобанов!» А дудки не хотел?

...Прошло три дня. Прибегает как-то Пашка:

— Дай домашнее задание списать, у меня не получается...

Я припомнил историю со жмыхом.

— За пять шелобанов.

— Согласен. Бей, — и он подставил лоб.

Э, Пашка, да у тебя самолюбия ни грамма нету!

— Списать дам, — говорю я, — а лоб свой убери-к... — И я матюкнулся — первый раз за месяц, что проучились.

ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА

Никогда в жизни я не испытывал такой боли в душе, таких угрызений совести, как в то время. Я ведь был тепло обут и одет. Вы же одевались кое-как, а обувались... Ты все правильно описал.

Я не мог вам, сиротам и полусиротам, прямо смотреть в глаза. Вызову кого к доске, смотрю: а он босой. Начинаю спрашивать, а сам отворачиваюсь. Боялся, что кто-нибудь из вас скажет: «За чем потревожили меня? Я только что так хорошо согрел ноги...»

И не нашел бы я, что ответить...

Отрази как-нибудь мое чувство вины (только вот за что — до сих пор не пойму).

...А с Серегиным ты продолжал дружить, хоть я вашу дружбу не одобрял. Недолюбливал я его — хитроват и ленив.

6

В конце сентября Надя ушла в няньки.

Я вернулся из школы и застал Дашу в слезах. Она редко плакала, а если и плакала, то незаметно, беззвучно. И уж если нельзя было стерпеть, то выскакива-

ла с плачем в сенцы, в чулан и там давала волю слезам: Прятала Даша слезы неспроста: если мы — я, Надя, Танька — видели их, тоже начинали реветь, догадываясь: случилось горе — Даша зря плакать не будет. Так было, когда зимой не растелилась наша корова, когда украли хромовые Дашины сапоги, когда Надя вернулась из школы, принеся похвальную грамоту за четвертый класс, с опухшим от голода лицом... Так было... Всякое было за четыре года, что мы живем без матери и отца...

Заметив меня, Даша вскочила с коника и метнулась к умывальнику — смыть слезы. Я, однако, заметил их, и у меня оборвалось сердце.

— Что? — выдавил я короткое слово и прикусил губу.

Даша вытерла лицо рушником, стараясь быть спокойной, ответила:

— Надя ушла...

И выбежала из хаты. Я понял: доплакивать.

Не снимая сумки, я сел на Дашино место — на коник. Навернулись слезы. Как без Нади теперь? Это она научила меня читать и писать, это от нее я узнал много басен Крылова, стихов всяких: про зиму, про весну, а еще — про недавнюю войну. Танька, правда, тоже кое-что мне читала, но редко и с меньшей охотой.

Пусто станет в хате без Нади, пусто и одиноко. Я вот приходил из школы — она меня ждала. Кормила, расспрашивала, тетрадки мои рассматривала, за пятерки по голове гладила.

Теперь я приду — и никто меня не встретит...

Больно и обидно. Чужого ребенка будет нянчить и ласкать теперь сестра, а не родного брата.

Две слезинки я не удержал, и они скатились по щекам, ко рту. Я лизнул губы, ощутив горько-соленый вкус.

А может, права Надя: на одного едока будет меньше. Вчера Даша смолола те самые полтора пуда ржи.

Что это — на четверых-то? На неделю-полторы хватит. А троим на дольше хватит, это верно. Впрочем, полтора пуда — дели их хоть на четыре части, хоть на три — все равно капля в море. Все равно целый год сидеть нам без хлеба, на одной картошке, а ближе к весне — на бураках, ну, а когда их не станет... Про это «когда» боюсь думать. Только б прошлое лето не повторилось с его оладьями-тошнотиками из гнилой картошки, лепешками из лебеды и конского щавеля, супом с речными ракушками.

Надя от тошнотиков теперь избавлена...

Вошла Даша, держа в руках новые лапти. Мои! Мне их на прощание Надя сплела!

— На! — положила Даша лапти на коник, рядом со мной. — Перед самым уходом Надька закончила, опорки придельвала. Велела только коньки не прикручивать, а то враз их сведёшь.

Я просиял. Спасибо, Наденька, за лапотки, теперь мне зима не страшна! Онучи у меня есть, вот теперь и лапти готовы, не надо к чужим людям с поклоном идти: «Сплетите, пожалуйста». Надя у нас приспособилась их плести не хуже любого мужика. Сначала только старые подшивала, а потом сходила к кому-то и подсмотрела, как начинают плести лапти, и научилась в конце концов этому мудреному крестьянскому ремеслу.

На зиму мне лаптей хватит — это точно. А в чем буду ходить во втором классе? Стоит ли так далеко заглядывать? Главное — сейчас обут. А до следующей зимы еще во-о-он как далеко!

ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА

Почему Даша не отдала тебя и Таню в детдом? Я знал, как вы живете, и не раз советовал ей оформить вас в один из детских домов. Тяжело было видеть вашу бедность. Предполагаю, что

Даше отсоветовали вас оформлять соседи (чего греха таить, детдомов побаивались), потому что ни одной веской причины не отдавать вас она не называла. Конечно, ей тогда было лет двадцать, и в житейских вопросах она разбиралась слабо. Вот и прислушивалась к кому надо и не надо. А если она действительно из жалости не хотела с вами расставаться, так эта жалость дорого вам, детям, обошлась.

7

Небольшое отступление.

Мы, мальчишки, любили вертеться около мужиков. Обычно на колхозном дворе возле кузницы они собирались — летом после работы. Курили, обсуждали деревенские новости, виды на урожай, трудные налоги, очередную заем и мировые проблемы. У кого из ребятни были отцы, те к отцам льнули, устроившись рядом или на коленях. А безотцовщина, вроде нас с Пашкой Сергиным, усаживалась в сторонке, за спинами мужиков.

Располагались на старых санях и телегах, нуждавшихся в ремонте, а то и просто на траве, если было тепло и сухо. Мужики почему-то нас не прогоняли, хоть наше присутствие явно сдерживало рассказчиков, и если кто-нибудь все-таки крепко выражался, его тут же одергивали: «Нельзя при детях-то...» А мы хитровато ухмылялись: и похлеще, мол, матюки знаем.

Преобладали на этих сходках воспоминания о недавней войне, разговоры про таинственную атомную бомбу. Недавно-де американцы испробовали ее над Японией, так сила у нее, писали в газетах, страшная: одним взрывом уносила тысячи народу.

— У нас, должно, тоже такая штуковина есть, — говорил конюх дед Степан.

— Должна быть, как не быть.

— Не позволять наши от какой-то Америки отстать. Не позволять, это уж как пить дать.

В конце четвертой четверти это случилось. Иван Павлович вошел в класс хмурый, озабоченный, растерянный какой-то и сбивчиво сказал:

— Наша ученица... Шишкина Галя... умерла... Сегодня занятий не будет... пойдем на похороны...

Галя жила с матерью и братом в ветхой избенке, босиком она ходила в школу дольше всех — до середины октября. Потом мы ее не видели, говорили, что заболела. И вот — умерла. От воспаления легких.

После слов Ивана Павловича меня охватила нервная дрожь. Я тоже ведь мог схватить воспаление, когда ослушался Дашу, и тоже мог умереть... (Впрочем, замечу в скобках, мое воспаление легких далеко от меня не уйдет. По весне, в пору половодья, я, не один раз промочив ноги, в конце концов слег, весь в немыслимом жару. Промедли Даша всего на сутки, сказал врач, не отвези меня в больницу, вряд ли бы я выжил.)

Не было виноватых в Галиной смерти, никто никого не осуждал: ни взрослые, ни мы, дети.

ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА

Не согласен, что не было виновных в Галиной смерти. Война, развязанная фашистами, тому виной (мы не одно десятилетие ощущали ее последствия). Она лишила нас самых необходимых благ, она разорила нашу страну, осиротила детей.

8

Мне бы с Вовкой Комаровым дружить: он хорошо учится. К тому же поведение у Вовки — лучше быть не может. Все четыре урока он сидит не шелохнувшись,

а после уроков летит домой без оглядки. Вовка рад бы не бежать стремглав домой, на уроках или на перемене пошуметь, да боится, что Иван Павлович отцу нажалуется.

Отец же у Вовки — жестокий человек. За малейшую провинность порет. Да норовит не просто ремнем отодрать, а пряжкой.

Меня за провинности Даша тоже по головке не гладит. Тоже иногда мне достается, но не так, как Вовке. Ремня у нас дома нет, есть одна веревка, которой когда-то корову привязывали. Эту веревку я всегда куда-нибудь прячу, и если Даша вдруг решит меня проучить, то веревки, как правило, под рукой у нее не оказывается. За лозиной на улице бежать? Я улизну. Тогда в ход идет рушник или тряпка. Я нарочно погромче визжу, будто меня режут, хотя мне вовсе не больно. Визг мой на Дашу действует расслабляюще, стегать она начинает легонько, принимается просто ругать. Но ругань стерпеть можно и молча, и я унимаюсь.

Случается, правда, что веревку Даша находит, и тогда — берегись. Сгоряча до синих полос на спине может отстегать.

Я пробовал, по настоянию Даши, сойтись с Вовкой и его дружками, да бесполезно. Скучно с ними: у них одни домашние задания на уме.

То ли дело с Пашкой Серегиным и Колькой Зубковым! Они учатся на двойки с тройками, и это их несколько не тревожит. Из школы мы возвращаемся поздно, по дороге играем в чикку. Если погода сухая, то играем на улице, а если дождь идет, то заходим к Кольке. Мать его работает свинаркой, почти целый день пропадает в свинарнике, а нам только это и нужно — полная свобода, что хочешь, то и делай.

Иногда в игру включается старший Колькин брат Егор (он учится в четвертом классе, причем в каждом классе сидел по два года).

Деньги у нас с Пашкой маленькие, но водятся. Нет, мы не крадем дома последние копейки, мы деньги добываем сами. Продаем в классе жмых, запасы которого у Пашки не тают. Кусок с ладошку — двадцать копеек, поменьше — пятнадцать, еще поменьше — десять. Чуть не весь класс грызет теперь Пашкин жмых. Губы и десны у многих кровоточат от твердого, как камень, жмыха, а грызут. Половину выручки Пашка отдает брату, немного — мне, за пособничество, остальные себе забирает.

Нынче вместо чики Егор взялся обучать нас игре в очко. Поначалу мы с Пашкой упрямылись: «Не умеем, и ты нас легко облапошишь». Егор же уговаривал: «Не надоела вам чика? Вон штаны на коленках до дыр протерли. Садитесь, научу, тут несложно».

Переглянулись мы с Пашкой: была не была.

Сели за голый стол, Егор сдал по карте.

— Шестерка — шесть очков, — начал он объяснение, — семерка — семь и так далее; валет — два, дама — три, король — четыре, туз — одиннадцать. Понятно? Кто наберет двадцать одно очко — тот и выигрывает. Но можно и на двадцати остановиться, и на девятнадцати... Бойтесь перебора... Давайте пару раз невзавраду сыграем.

Игра показалась мне немудреной, здесь все, полагал я, основано на везении, и попервоначально мне везло. И Пашке везло. Егор с Колькой, проигрывая, делали кислые мины.

У меня уже было около двух рублей, когда стал банковать Егор. Должно, от переживания за проигрыш он вдруг покраснел до корней волос.

Рубль десять стояло в банке, и я, осмелев, резво протянул руку за картой:

— Иду на все.

К моему тузу пришел король. Пятнадцать очков. Брать еще карту или не брать? А вдруг перебор будет?

У Егора десятка была. Пришла дама. Егор долго думал, мял в руках колоду, потом резко вытащил очередную карту — семерку.

Я отсчитал в ладонь рубль десять и небрежно высыпал монеты перед Егором.

Потом карты взял Колька, я подбил Пашку «идти на все», он меня послушался и тоже проиграл.

— Не везет, — сказал я отчаянно.

Мы с Пашкой все больше входили в азарт, надеясь отыграться, а то и сколько-то выиграть...

Легко и просто обчистили нас братья Зубковы. Конечно, знай я, что карты у них меченые, ни за что не стал бы продолжать игру. А так — завелся.

— Мечи! — кричу Егору.

— У тебя ведь денег нетути.

— За пять патронов — пятьдесят копеек. Даешь?

Егор взглянул на потолок, подумал. Потом спросил:

— Винтовочные?

— Винтовочные.

— Даю. Но! Ты мне приносишь четыре патрона, а пятый бросаешь в школьную плитку.

Я в изумлении вытаращил глаза. Это как — патрон в плитку?! А вдруг пуля сквозь кирпич в кого-нибудь из ребят угодит? Нет-нет, я на это не пойду.

— Соглашайся, — толкает в бок Пашка. — Мы во время перемены патрон в плитку бросим.

Может, прав Пашка: на перемене Иван Павлович всех выгоняет на улицу — просвежиться, тогда и...

— Договорились, — решительно стукнул я по столу.

...Он, видимо, подошел к хате Зубковых через огород по жиденькой тропке. Зайди он с улицы, мы бы его заметили: на окнах не было никаких занавесок.

Двери в сенцы он открыл неслышно, потому-то неожиданно возник на пороге хаты. И именно в тот момент, когда я, проиграв, безутешно, просто так тасовал карты.

Мы с Пашкой первыми заметили его, и я, не растерявшись, сунул карты под себя. Братья же — Егор и Колька — сидели спинами к двери, и Егор сказал:

— Давай в дурачка срежемся, и по домам.

В это время Иван Павлович и поздоровался.

Я обмер: однажды он застал меня курящим, теперь — играющим в карты. Тогда он простил мой проступок, а теперь?

Братья испуганно оглянулись и одновременно, словно по команде, прикрыли ладонями пирамидки своих монет.

— Чья берет? — шагнул к столу Иван Павлович.

— А мы не играем, — нагло врал Егор (ему легко врать: не его ведь учитель пришел).

— Чем же вы занимаетесь?

— Вот эти, — кивнул Егор на меня с Пашкой, — Кольке показывали, что на дом задано.

«Ловко выручает», — обрадовался я: Колька действительно сегодня не был в школе.

— Занимаетесь, значит? — иронично улыбнулся Иван Павлович. — Дай-ка сюда карты, — обратился он — уже строго — ко мне.

— К-какие?

— Те, что спрятал.

Я, наивный, поднял руки.

— Нетути их у меня... Я задание показывал...

— А вот обманывать учителя, и не только учителя, школьнику не к лицу. Давай-давай карты, ты на них сидишь...

Я залился краской — уличен! — и, потупив взгляд, достал из-под себя колоду карт, протянул ее Ивану Павловичу.

— Завтра в школу придешь с сестрой. А ты, — указал он пальцем на Пашку, — с матерью.

— Она не захочит.

— Скажи: я просил.

— Все равно не захочить. Она говорить: «Вас у меня девять идиотов, и ко всем я ходить должна? А кто же вам за меня жрать будить готовить?»

Пашка говорил чистую правду, мать у него к учебе детей равнодушна, а потому все они учатся кое-как, без конца остаются на второй год и никто из них больше четырех классов не окончил.

Иван Павлович поиграл желваками.

— Ладно, все равно скажи... А ты, Зубков, почему на занятиях не был? — обратился он к Кольке.

— Галоши порвались. Мы вот с Егором через день решили в школу ходить: у нас теперь одни галоши на двоих.

— Где они?

— Что?

— Галоши.

— На Егоре.

— Порванные.

— А-а... Под лежанкой.

— Ну-ка, покажи.

— Там темно, я их не найду.

— А я посвечу. Спички есть?

— А можить, и не под лежанкой, — начал юлить Колька, и я понял (Иван Павлович — подавно), что он хитрит.

— Еще раз спрашиваю: почему не был на занятиях?

— Проспал. Да и неохота: одни двойки... девки смеются, когда у доски отвечаю...

— В общем, завтра и ты с матерью придешь.

— Ей некогда.

— Почему?

— Свиной некому кормить.

— Она сейчас где?

— На ферме.

— Ладно, я к ней сам зайду... А ты, — крикнул Иван Павлович на меня, — без сестры не появляйся.

Вот так-то... Пашка с Колькой выкрутились. А я не сумел ничего придумать. Даша ведь тоже вечно занята, на работу в колхоз каждый день ходит — не как другие ее ровесницы. Ну и мне бы сказать: «Даша не сможет, ей надо минимум трудодней выработать, а то под суд отдадут». Глядишь — и поверил бы Иван Павлович. Хотя я понимал: скажи Даше, что ее в школу вызывают, все бросит — и колхоз, и домашнее хозяйство, — явится. Уж за нами-то она следит, переживает, если мы с Танькой что натворим. Но Танька ничего не вытворяет, она девчонка, вытворяю, выходит, пока я один.

Знал я характер Даши, слишком хорошо знал. Поэтому и не повернулся у меня язык на брехню.

Но как, с какими глазами я заявлюсь домой и скажу сестре: «Иван Павлович завтра велел тебе прийти».

Это проклятые карты во всем виноваты! «А вообще-то очко — штука удивительная», — одновременно подумал я, когда Иван Павлович закрывал за собой дверь.

ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА

Не мог я ходить огородами, не позволял себе подобного. Люди ведь осудить могли: «Что это Журавлев по задворкам крадется — людей боится? А еще учитель...»

Но ныне обо мне так не подумают, посему оставляй как есть.

Других замечаний не имеется.

9

Даша в тот день ездила в Поньри, в райцентр, и я успел вернуться домой за полчаса до ее возвращения. Таньке наказал:

- Смотри, не проговоришь.
- Про что?

- Что я поздно пришел.
- Сходи воды принеси — не скажу.
- Ладно, схожу.

Я мигом принес полведра воды (половину расплескал) и сел делать уроки.

Чтение: «Ма-ма мы-ла ра-му». Я уже наизусть выучил чуть не весь букварь, так что к чтению готовиться нечего.

Письмо. По две строчки буквы «м», «л», «п» — больших и маленьких. Это я тоже выполнил мигом.

Осталась арифметика. А что в ней сложного? Ничего. Не пойму, почему это Пашка путается. Он ведь не бестолковый. Наверное, ленивый и неаккуратный. Цифры у него неодинаковые ростом, то вправо падают, то влево. Складывает и вычитает на палочках — и то с трудом. Я уже палочки давно не ношу, в уме примеры решаю. До двадцати, правда, быстро складываю-вычитаю, а дальше, в отличие от Вовки Комарова, выполняю действия только с помощью пальцев и палочек. Ну, так это мы еще и не проходили...

Едва я справился с уроками, заявила Даша. Полмешка чего-то принесла.

— Фу, — устало положила на лавку мешок и села рядом. — Уморилась. — Опустила руки на колени. — Обедали?

— Угу, — ответила Танька. Она как раз пришивала тряпичной кукле руки, которые я ради озорства оторвал накануне, за что получил от Таньки пару подзатыльников.

— Весь суп съели?

— Весь.

— Молодцы.

А сколько того супа было? Небольшой чугун. Нам с Танькой как раз по полторы глиняных миски досталось. Если есть суп с хлебом, хватило бы и по одной миске, а так, без ничего, и этого мало.

Даша отдохнула, принялась развязывать мешок (меня она отстранила: «Не лезь, ты мне тут все перевернешь»). Первым делом достала галоши — новые, с мягкой розовой прокладкой внутри.

— Это тебе, — протянула она мне галоши, — до снега в них походишь, потом весной.

Ура! А то старые, с Танькиной ноги ботинки уже начали рот разевать, зубы-гвозди показывать.

Затем Даша вытащила буханку белого хлеба, осторожно положила его на стол, и по хате пополз сладкий-сладкий, слаще которого нет ничего на свете, запах. Я проглотил слюнки.

А еще Даша привезла кулек конфет-подушечек, пряников-рыбок.

— А это камса, — выложила Даша из мешка на стол бумажный сверток. — Таньк, заноси дрова, торф, будем на ужин картошку варить.

Мы с Танькой, подперев головы руками, так хорошо устроились за столом, с таким любопытством наблюдали за действиями Даши, что Танька и не пошевелилась.

— Слышала — нет? — прикрикнула Даша. — Заноси дрова.

Танька часто заморгала, досадуя, что ее отсылают, небожно толкнула меня в бок: «Вечно тебя жалеют».

Покупки Даша не велела трогать, галоши, чулки Танькины сунула в сундук, хлеб запеленала в чистый рушник и положила на полницу. Потом развернула белый, с синим горошком, платок, долго, покрываясь и так и эдак, гляделась в треугольный осколок зеркала. Красивая — в новом платке — у меня сестра. Лоб у нее высокий, нос прямой, а над искривленными глазами — две дужки черноватых бровей. Почему же у нее ухажера нету? У всех ее подружек есть ухажеры, а у нее нет. Не хочет или никому не нравится? И почему она на гулянки редко ходит? «Умариваюсь сильно», — сказала

она однажды своей лучшей подружке Кате. Но ведь и Катя в колхозе работает, тоже умаривается. Может, правда, не так, мать все-таки у нее, отец.

Обидно мне за Дашу. Но теперь-то, в новом платке, она обязательно понравится самому лучшему парню нашей округи, может, даже любимцу девчат гармонисту Сенечке.

Любуясь Дашей, я ухитрился незаметно прорвать пальцем дырочку в свертке с камсой и вытащить одну рыбку. Даша повернулась и заметила, как я сунул рыбку в рот.

— Нельзя без ничего есть, — притопнула сестра. — Или опять раздуться хочешь?

Камсу я не ел с лета. Тогда, в разгар голодовки, привезли в нашу «кооперацию», в сельмаг, значит, несколько бочек камсы. Народ и двинулся за ней: дешевая была, да и надоела всем пресная пища из лебеды и конского щавеля. Купила камсы на последние рубли и Даша.

Прямо в бумаге положила она на стол два килограмма мелкой, ржавой, но такой вкусной камсы. Накинулись мы четверо на нее, давно оголодавшие и отошавшие.

— Головы-то хоть ей отрывайте, — сказала Даша. — Кошке оставьте. Вон кошка траву ест, свой живот глотить.

Но куда там! Что нам кошка, когда у самих кишка к кишке прилипла! Слева от меня Надя уписывала камсу, справа — Танька, я хоть и самый маленький, но не отставал. Набирал горсть камсы и одну рыбку за другой отправлял в ненасытный рот.

В момент камса исчезла со стола. Даша высыпала на бумажку кучку оставленных ею головок и вынесла их в сенцы — кошке.

Через полчаса мы принялись хлебать воду. Холодную, зуболомную, только что из колодца.

— Потерпите, — советовала Даша, — а то как бы худа не было. Вон, рассказывали, в Болотном...

Слова Даши — как об стенку горох. Что от воды может случиться? Ну, сходишь лишний раз ночью на двор — и все. А терпеть жажду... Как тут вытерпишь, если внутри все печет, пересыхает во рту? Сама терпи, коли боишься...

Утром мы встали и не узнали друг друга. Надя, Танька, я — как восковые, лица у всех опухли, глаза еле видны. Я подошел к зеркалу и в ужасе вздрогнул, увидев свое отражение. Даже уши раздулись и стали стеклянными от воды — просвечивались. Руки, ноги тоже опухли, было больно и тяжело переступать, попробовал сжать пальцы в кулаки, не получается: слишком толсты были пальцы.

— Говорила ведь: не пейте! — негодовала и плакала Даша. — Или вам жить на свете надоело?

Мы выжили тогда, но камсу Даша больше не приносила.

И вот не удержалась, купила. Самой, видно, здорово захотелось. Да и не так много ее, и с картошкой будем есть — не страшно...

— Уроки сделал? — спросила Даша.

— Угу.

— Лезь в погреб за картошкой. Это тебе наказание, чтоб не брал камсу без спроса.

Даша у нас такая — без спроса и впрямь ничего нельзя взять. Ни камсичку, ни спичку («Зачем, опять для курева?»), ни листика бумажки — в сундуке лежит стопка каких-то старых, довоенных, наверное, еще колхозных бланков («Вон писать вам не на чем, я из этих бланков тетрадки сошью»). Конечно, не от жадности, я догадываюсь, это у нее, а от бедности. Догадываюсь, понимаю сестру, но спички и листочки для самокруток потихоньку таскаю.

Ре-е-едко, но покуриваю.

Я взял ведро, направился в погреб, что в сарае. Настроение приподнятое: галоши у меня новые, ужин будет с камсой и хлебом! Эх, и жизнь пошла! Жаль только, что один раз в месяц приносят нам пенсию за отца.

В темноте погреба на ощупь я быстро набрал ведро картошки, нес его двумя руками. Покрякивал от удовольствия: знатный будет ужин!

Хороша жизнь, да похолодело у меня вдруг внутри. Временно отвлекли Дашины покупки от тягостных мыслей о завтрашнем дне. Когда сказать ей, что ее вызывает Иван Павлович, — нынче вечером или утром? Вечером скажешь — ужина не получится. Раскритится, разволнуется, кинется за веревкой (кстати, надо ее перепрятать). Сама от еды откажется, и нам с Танькой будет мало радости. Нет, скажу ей завтра. Причину вызова утаю. Не знаю, и все. А там, глядишь, Иван Павлович, может, и промолчит про карты, про игру на деньги. Может, как и на недавнем родительском собрании, скажет Даше: «Легко учиться, но глаз да глаз за ним нужен, а то под нехорошее влияние попадет». Ну, так этот самый глаз нужен не только за мной, а за всеми мальчишками. Стань отец Вовки Комарова чуть помягче, Вовка, что ли, тоже не заразится игрой в чику или очко? Как миленький заразится. Мы с ним как-то играли в чику, понарошку, правда, моими деньгами, так он в такой азарт вошел, что чуть ли не плача просил меня играть с ним еще и еще.

Решено, в общем: нынче — молчок.

...А еще ведь патрон нужно в плитку бросить.

Посреди стола стоял чугунок вареной очищенной картошки, к потолку поднимался теплый густой пар. Язычок керосиновой коптилки, висевшей над столом, от входящего пара то метался из стороны в сторону, то пытался оторваться от ватного фитиля.

Мы с Танькой ели молча, говорила только Даша: ..

— Перед отъездом к Надьке успела забежать. Ничего, пока не жалуется на хозяев, платье они ей справили, туфли. Обещают бурки купить... Ничего... Только, сказала, кое-когда умариваюсь. Ребеночек, сказала, дюже беспокойный, болеет часто. А так ничего... Ем, сказала, вместе с хозяевами... Да, — подняла Даша на меня глаза, — когда с поезда шла, Ивана Павловича встретила... — У меня от такого известия в горле застряла картошка. — Велел передать, чтобы ты завтра один в школу приходил... А с кем это ты должен был прийти?

Я замаялся, не зная, что ответить.

— С... с... с... с этим, с Пашкой...

— А почему теперь без него?

— Ну, Иван Павлович тоже против нашей дружбы, — нашелся наконец я, поняв, что главное Даше неизвестно: умолчал об этом учитель. Вот молодец-то!

Ответ, видно, удовлетворил Дашу, потому что она перестала меня расспрашивать.

— Я тебе тыщу раз говорила: ищи получше дружков! Не слушался. Я плохое советовать не буду, вон теперь, как видишь, и ученый человек мои слова повторять.

— Что еще про него Иван Павлович сказал? — встряла в разговор Танька и показала мне язык: это, мол, в отместку за порванную куклу задала я такой ехидный вопрос.

Даша подняла голову, вспоминая:

— Ничего особенного больше не сказал. Учеба у него в порядке, на поведение не жаловался (ай да Иван Павлович!). Спросил, как живем, я ответила: по-маленьку.

Я вздохнул полной грудью: пронесло грозу стороной...

А Танькиной кукле и ноги оторву!

...А почему это Иван Павлович промолчал про карты? Может, у него самого завтра спросить? Хитрость

тут какая-то или он не придал значения нашей игре? Скорее — второе. Ведь в карты — особенно в подкидного — у нас в классе почти все играют, «двадцать одно» тоже многим известно (мальчишкам, естественно), поэтому, наверное, это не событие для Ивана Павловича, что он застал нашу троицу и Егора за игрой.

ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА

Прочитал я эту главу и задумался: чем объяснить, что сегодняшние деревенские школьники далеки от карт и от той же чики? Воспитание стало лучше? Теперь почти у всех есть мать-отец, да и детей в семье не то, что раньше: один-два, от силы трое. Телевизоры кругом имеются, радио, в клубе три раза в неделю фильмы показывают. Есть чем заняться. А в ваше время дети не знали, как вечера (особенно осенне-зимние) убить, куда себя деть. Вот и появлялись карты, игра в очко — сначала под щелчки, потом на деньги.

Описываемый эпизод я не помню: мало ли было подобных случаев за мою долгую учительскую работу? Почему Даше на тебя не пожаловался — тоже объяснить могу. Я ведь знал, что за каждую мою жалобу вам дома здорово достается. Сгоряча мог приказать: «Завтра явись с родителями!» А проходило время, я остывал, и мне вас становилось жаль. Вот, наверное, в тот раз я и пожалел тебя.

10

Чтобы лишний раз не расстраивать Дашу, я не стал заходить за Пашкой. Ночью выпал снег, и новые галоши отпечатывали на снегу четкий рисунок. Дышалось легко и беспечно.

Впрочем, когда я, поправляя сумку, нащупал обойму с патронами, от беспечности не осталось и следа. Пришла тревога. Ведь предстояло четыре патрона передать через Кольку Зубкова его брату Егору, а пятый — бросить в плитку. Таков уговор, и не выполнить его — значит потерять честь, прослыть среди деревенских ребят слабаком, которых не любят и презирают.

Конечно, от взрыва патрона плитку не разнесет. Летом и по осени мы, ребятня, такие взрывы устраивали десятками. Бросали патроны в костер, а сами разбегались по сторонам и залегали. Вскоре раздавался гулкий треск, костер разносило, но не было случая, чтобы кого-нибудь поранило пулей. Но это происходило на улице, к тому же мы прятались. А в классе... Никто ничего не ожидает и вдруг... Перепугаться могут, а пуля, глядишь, угодит в тонкую — из жести — дверцу и ранит кого-нибудь. А то и убьет.

В воображении моем рисовалось, как Вовка Комаров, сидящий как раз напротив дверцы, схватившись за грудь, сраженный, сползает с лавки под стол-парту. Патрон, брошенный в плитку на перемене, почему-то долго не взрывался, и вот он жажнул, когда начался урок... И тут поднимает руку моя соседка Верка Шанина и громко объявляет всему классу, показывая на меня:

«Это он виноват в смерти Комарова, я видела, как он бросил в огонь винтовочный патрон... У него в сумке еще четыре штуки лежить...»

Что будет дальше, я боюсь предположить, но то, что Дашу посадят из-за меня в тюрьму, это точно...

А как мы с Танькой проживем без старшей сестры? Кто будет нам готовить похлебку, кто будет по утрам топить печь, кто, наконец, заработает в колхозе те же полтора пуда муки? Нет, без Даши нам не будет жизни. Отправят нас в детский дом. А там, ходят слухи, ужасные строгости, сплошные драки, а кормят чем зря и то

не каждый день (ах, эти слухи, какими невероятными, узнаю я после, окажутся они!).

Но — уговор, проклятый уговор! И дернул же нас с Пашкой черт связаться с Егором! Ну, проиграли — и по домам бы. Нет, я завелся, предложил свои патроны, будь они неладны.

И вот теперь нужно держать расплату за свой азарт, за свою настырность — обязательно отыграться.

Каким же неблагодарным я окажусь, подстроив сегодня взрыв. Подведу Дашу (уж на этот раз Иван Павлович, если прознает о моей выходке — а мне почему-то кажется, что он обязательно прознает! — все начистоту выложит сестре), подведу самого Ивана Павловича, который, смотри-ка, умолчал про карты. Зауважал я своего учителя, понял, что желание у него одно: чтобы все мы хорошо занимались, чтобы выросли настоящими людьми, а если случится снова защищать нашу великую страну, то чтобы сражались за нее, как Николай Гастелло, как Зоя Космодемьянская, как Александр Матросов. И вот за такие его святые желания я заплачу патроном в плите? Неблагодарно! Недостойно! Подло!..

В школу я пришел, когда Колька Зубков уже играл в салки с Мишкой Казаковым, перескакивая со стола на стол. Увидев меня, он прыгнул на пол, подошел ко мне.

— Принес?

— Принес.

Я достал из сумки обойму, вытащил из нее патрон и сунул в карман штанов. Четыре патрона передал Кольке.

— Это — Егору, смотри не присвой.

— Не присвою, будь спок.

В класс вошла уборщица, ругнулась на Казакова, стоявшего на столе, открыла дверцу плиты. Там гудел огонь, такой ярко-красный, аж больно было смотреть на него. Уборщица бросила туда несколько кусков твер-

дого и черного, как уголь, торфа и захлопнула дверцу. Затем заглянула для порядка в поддувало и удалилась.

— Бросай сейчас, — опять подскочил ко мне Колька.

— Не, скоро Иван Павлович придет.

— Бросай, пока его нетути!

— Не, на перемене.

Вообще-то Колька был прав: лучше было устроить взрыв сейчас, пока Иван Павлович еще не появился. Но не стоит рисковать, вдруг вот-вот войдет. Подожду до второй перемены, когда он, прихватив сверток с обедом, уйдет перекусить в хату к уборщице, что живет рядом со школой. Вот тогда и можно выполнить уговор.

На первом уроке — арифметике — я ничего не сообщал и ничего не слышал. Иван Павлович что-то объяснял, кого-то спрашивал. Кажется, Вовку Комарова. Да, точно. Вовка отвечает без запинки, четко, и Иван Павлович говорит ему: «Садись, молодец: пять».

Может, это последняя Вовкина пятерка. Может, мой патрон действительно оборвет его жизнь...

Меня охватывает мелкая дрожь. Я касаюсь лба тыльной стороной ладони, и она оказывается мокрой от холодного пота.

Неблагодарно отвечать на добро Ивана Павловича злом.

Преступно убивать одноклассника.

Подло садить в тюрьму сестру.

Может, лучше ходить в малодушных слабаках, чем совершить преступление? У кого спросить, с кем посоветоваться? С Пашкой? Но и он перед уроками спрашивал: «Когда бросишь патрон?» Я ответил: «На второй перемене». Но теперь не уверен, что сдержу слово. Скорей бы заканчивался урок. Я знаю, что сделаю, чтобы избавить себя от переживаний. Я придумал, я решил, и это решение будет твердым...

Едва Иван Павлович объявил первую перемену, я мигом выскочил на улицу, забежал за угол школы, до-

стал ненавистный патрон и что есть силы бросил его в овраг, разделявший Болотное на левую и правую улицы.

Выкинул патрон, и враз отлегло от души. И уже не мучился на следующем уроке, не переживал. Все! Теперь хоть режь меня, хоть ешь меня — невозможно исполнить уговор, заключенный с Егором.

Наступила вторая перемена. Иван Павлович велел остаться в классе только дежурным, а остальных попросил одеться и выйти на улицу: пусть-де класс проветрится. Сам же направился в хату уборщицы — обедать.

Колька Зубков и Пашка, однако, выходить не торопились, хотя дежурные и подталкивали их в спину. Я тоже пока не спешил, делая вид, что ищу в сумке нечто такое, без чего на улицу выйти мне нельзя.

Наконец Кольку с Пашкой дежурные вытолкнули. А через несколько секунд вышел и я. Ребята поджидали меня в сенцах.

— Бросил? — кинулся ко мне Колька.

— А ты как думал? — невозмутимо ответил я.

Перехитрю их, решил, а коли не поверят моей хитрости — их дело, пусть не верят. Я буду твердить свое: бросил, бросил, бросил! Сомневаетесь — вон берите кочергу, открывайте плиту и ищите патрон. Может, как раз в это время он и рванет. Боязно? Опасно? Тогда верьте мне.

Прошло уже минуты две, Колька и Пашка томительно ожидали взрыва. Я читал в Колькиных глазах: «Ох, и расшумится Иван Павлович, узнав о взрыве! Конечно, в первую очередь подумает на меня. Будет выпытывать признание. А я только стану ухмыляться: «Честное слово, не виноват».

— Точно бросил? — шепотом спросил Колька.

— Точно.

— А чего ж не рветь?

— Откуда я знаю?
— Можить, в поддувало патрон проскочил?
— Откуда я знаю?
— По-моему, Паш, он брешить, — заблестели у Кольки глаза.

— Иди проверь! — возмутился я.
— Что я — дурак?
— А чего ж говоришь: брешить?
— Потому что уже должно жахнуть. Признавайся: брешь? — И Колька больно наступил своей ногой на мою.

Я ойкнул и оттолкнул Кольку.

— Гля, он еще толкается! По сопатке захотел?
Колька явно затевал драку. Я слабее его — он, как и Пашка, на год старше меня, мне с ним не сладить.

Колька зажал меня в углу сеней, не давая возможности ускользнуть.

Впрочем, я и не пытался. Если ударит, решил, я тоже ему врежу куда попало, а там, надеюсь, Пашка не даст в обиду: или разнимет нас, или поможет мне справиться с Колькой. Друг мне все-таки Пашка или не друг?

Пашка стоял сзади, выжидал.

Колька держал меня за рукава фуфайки.

— Егор сказал: если он не исполнит, что обещал, набей ему сопатку. Иди загляни в плитку.

— Сам загляни.

— Не пойдешь — получишь.

— Не пойду!..

Он целил мне в нос, Колька Зубков, отчаянный задира и драчун. В классе он чуть ли не верховодил, по крайней мере, лишь два или три человека могли побороть его. В драке он любил пускать «кровянку», всегда стремился разбить губы или нос. Но я успел чуть присесть и повернуть голову, и Колькин кулак угодил мне под правый глаз. Удар был резкий, неожиданный, я ойкнул от боли.

Пашка не двинулся с места.

Колька продолжал стоять передо мной, испуганно оглядываясь на дверь — не возвращается ли Иван Павлович. Злость, обида и отчаяние овладели мной в эти секунды, и, не думая о последствиях, я собрал все силы и тоже ударил Зубкова в лицо. Теперь он ойкнул, зажав ладонью нос. С ужасом я увидел, что сквозь Колькины пальцы проступает кровь.

Наша стычка не осталась незамеченной. Нас полукругом обступили мальчишки. Заметив окровавленное Колькино лицо, переспрашивали друг друга: «Кто его так? За что?». Кольке советовали выйти на улицу и умыться снегом. Снег или холодная вода, говорили, быстро останавливают кровь.

Колька внял совету, и толпа мальчишек двинулась за ним. В том числе и Пашка.

Я остался в сенцах один. Нет, еще и Вовка Комаров не вышел, он не спеша приблизился ко мне, тихо сказал:

— Здорово ты ему припечатал!

— Он первый начал.

— Ну и правильно ты поступил: Зубков вечно божком себя чувствовать, а сдачи ему дать все бояться.

— После уроков теперь будить меня подкарауливать.

— А мы давай вместе домой пойдем, — предложил

Вовка.

— Заступишься, что ль?

— Заступлюсь.

— На Пашку, видно, надежда плохая.

— Пашка — трус, а я, посмотришь, не испугаюсь.

— Лады.

До прихода Ивана Павловича Колька успел смыть следы крови. Однако Иван Павлович заметил припущенный Колькин нос, спросил:

— Что случилось?

— Играли, ну и нечаянно...

— Надо осторожней.

Что Кольку кто-то ударил, Иван Павлович, поди, и предположить не мог, а потому легко поверил его словам.

У меня горело под глазом, я сидел, прикрывая ладонью больное место.

Третьим уроком было рисование. Иван Павлович рисовал на доске красивую кружку (он здорово рисовал!), и мы должны были скопировать его рисунок. У кого были цветные карандаши (таких счастливчиков насчитывалось человек пять-шесть), тот рисовал кружку в цвете, а остальные срисовывали простыми карандашами. У меня был огрызок зеленого карандаша (Танька дала на урок рисования). Низко силовившись над тетрадкой, чтобы Иван Павлович не заметил мой синяк, пыхтел над кружкой.

На третьей перемене я засиделся за столом, и проходивший мимо Колька злорадно бросил:

— Что, боишься выходить?

— Ни капельки.

И в доказательство я вышел из-за стола. Пусть, думаю, хоть пальцем только тронет, я теперь смелый, могу и ответить, да Вовка Комаров обещал помочь.

Но Колька приставать ко мне не стал, возможно, решив проучить меня позже.

А после четвертого, последнего, урока, отпуская ребят домой, Иван Павлович показал пальцем на меня, Пашку и Кольку:

— Ты, ты и ты останьтесь.

«Карты», — обреченно догадался я.

Да, так оно и вышло. Иван Павлович посадил нас всех вместе за стол перед собой, вытащил из полевой сумки карты, которыми мы вчера резались в очко.

— Чьи? — спросил он и провел глазами по нашим лицам.

Ни звука с нашей стороны.

— Твои? — посмотрел на Кольку Иван Павлович.

Кольке деваться было некуда: не скажет же он, что карты сделал я или Пашка.

— Егоровы, — опустил голову Колька.

— Я так и догадался. Что ж он жульничает; Егор-то? Наметил карты иголкой, обчистил, поди, до копейки этих? — кивнул учитель на меня и Пашку.

А-а, так вон почему нам «не везло»! Поначалу, значит, Егор поигрался с нами, как кошка с мышками, разжег в нас азарт, а затем вместе с Колькой легко облапошил. Колька еще ерепенится: «По сопатке захотел?» Это ему и Егору нужно за жульничество как следует надавать!

Иван Павлович рвал карты пополам и складывал их горкой.

— Передай своему Егору, чтобы моих учеников на дурное дело не подбивал. И сам, кстати, побольше в учебники заглядывай, чем в карты... А что это у тебя под глазом? — вдруг заметил Иван Павлович мой синяк: я на какие-то секунды опустил руку.

— Нечаянно...

— Все понятно, — вроде бы двусмысленно сказал Иван Павлович, но я не сомневался, что правда ему известна. — Идите, горе-картежники, по домам, и чтоб я больше вас за этим занятием не заставлял. Застану — тогда не пощажу. А о Егоре я сообщу его учительнице. Это ж надо до чего опуститься — первоклассников обдуривать!

Мы вышли из класса цепочкой: я, Пашка, Колька. За углом школы меня поджидал Вовка Комаров. Он подскочил ко мне с вопросом:

— Здорово досталось?

— Пойдем, по дороге расскажу.

Мы взяли за руки и ускорили шаг, чтобы отдалиться от Пашки Серегина и Кольки Зубкова. Видать, и вправду, подумалось мне, я дружил не с теми, с кем надо.

ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА

Ну и ученики у меня были, нечего сказать! Я полагал, что мне известны все ваши проделки, а тут вдруг такое открывается! Мой лучший ученик проигрывает в карты патроны, и один патрон заставляют его бросить в плиту. Это ж надо додуматься! Как ты еще таким образом не умудрился снаряд проиграть — их тогда за вашей деревней, на бывшем военном складе, полно валялось?

Но в общем ты молодец: вовремя одумался, не поддался на угрозы, проявил характер.

11

В классе у нас висит лозунг: «Знание — сила». Я долго не понимал его смысла. Как это могут знания стать силой? Сила — это мускулы. У Кольки Зубкова они потверже, значит, он сильнее меня. Пашка тоже ловкий, хоть и уступает Зубкову. В первом классе мы с ним не дрались, а раньше до драки доходило часто, и в этих поединках Пашка успевал больше надавать тумачков. Значит, и ловкость — сила.

А знания — представить себе не мог, чтобы были сильными.

И вдруг я совершил открытие! Нашел смысл! Я знаю больше, чем Пашка и Колька, и они, чувствую, к концу второй четверти явно заискивают передо мной: чуть ли не каждый день слышу:

— Давай вместе учить уроки, я жмыха принесу, наедемся от пуза.

Это Пашка просит. А Колька:

— Не будем больше драться, идеть? А если тебя кто хоть пальцем тронить, я заступлюсь... Слушай, отчего у меня двойки да тройки по письму? Дай твою тетрадку посмотреть, возможно, я что-то не так делаю...

Дашки дома не будить? Тогда я забегу. И коньки принесу. Хочешь на коньках покататься?

Вот что такое «Знание — сила»! Правильно на стене написано.

Колька с последней просьбой сегодня пристал. Ладно, уважу. Неделю мы с ним не разговаривали, теперь вот коlobком подкатился. Хотя мы, ребята, обычно быстро миримся, но я на принцип пошел: Колька виноват, пусть первым и ищет примирения. По-моему и получилось.

Через час, может, после возвращения из школы Колька явился ко мне. С тетрадкой и коньками-снегурками.

— Садись, — указал я на коник, — гляди, как я писать буду.

Колька, плотный крепыш, снял ватный, не по росту, полусак. Пудобней уселся, развернул тетрадку.

— Ну, пиши, — сказал я. — Э-э-э, да ты тетрадь неправильно ложишь, вот у тебя и не получается наклон. Надо вот как, чтобы нижний угол тетради упирался тебе в грудь. Иван Павлович ведь объяснял. Не слышал? Не надо мух ловить во время урока (это выражение я у Ивана Павловича перенял). Потом: зачем все перо в чернила обмакиваешь? Надо только кончик, иначе будить клякса.

Колька пыхтел, сопел от страдания, а я, почувствовав власть над ним (знание — сила), продолжал его поучать:

— Следи за нажимом... Так, молодец. А теперь напиши строчку большого «Щ».

— Нам ведь «Щ» не задавали.

— А ты напиши: Иван Павлович за это не заругайть. У тебя «Щ» плохо получается, потрудись.

Кольке ничего не остается делать, как подчиниться. Раз на помощь напросился, получай ее, только, чур, не лениться. Думаешь, пятерки легко даются? Терпение

и труд нужны, говорил по этому поводу Иван Павлович. И еще одну поговорку приводил: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Так что пиши, Николай Зубков, и не выкаблучивайся.

— Фу, — облегченно вздохнул Колька, справившись с моим заданием.

— Все? — заглянул я в его тетрадку. — Ну, а ты не знал, отчего у тебя двойки да тройки бывают. Вот постарался — и хорошо получилось. Четверка верная будить.

— Шутишь?

— Спорим?

— Ладно, если поставят четверку, я у Егора твои патроны стыру и верну тебе.

— Не нужны они мне...

— Тогда пойдем кататься.

— Пойдем. Только давай и Пашку прихватим.

— У нас же одни коньки.

— А мы по очереди.

Вышли на улицу: я — в лаптях, сплетенных Надей, Колька — в бурках с галошами. Только что перестал падать снег, глаза резало белизной. Пока к этой белизне не привыкнешь, смотришь прищурившись, подслеповато.

Пашка жил по соседству — в тридцати шагах. Мы по припорошенной тропке направились к нему — я впереди, Колька следом.

Едва я отворил дверь, как столкнулся с Пашкой носом к носу. Он как раз возвращался из закута — давал корове сено.

— Уроки сделал? — спросил я.

— По чтению осталось.

— Вечером прочитаешь?

— Прочитаю. А что?

— Айда на коньках!

— На чьих?

— Колька достал. Он за дверью дожидается.

Пашка покрутил головой: нет ли рядом матери.

— Идем. Корову накормил — что еще?

Речка Снова от Пашкиной хаты близко, не далее пятидесяти метров. К речке с крутого берега ведут скользкие ступеньки. Скользкие они по одной причине. Внизу — прорубь, где женщины полощут белье. Когда они его несут, с белья капает вода и тут же замерзает на ступеньках. Потому спуск небезопасен.

Но это взрослые спускаются еле-еле. Мы, мальчишки, поступаем просто: скатываемся, как с горки. Только б в прорубь не угодить. Впрочем, угодить в нее может лишь слепой: прорубь находится немного в стороне от сбегающей с кручи дорожки.

Мы подошли к спуску и друг за дружкой съехали на стекольный, надежный уже, лед. У берегов замело его снегом, а середина реки была чистая, подметенная ветром.

— Ну, кто первый? — спросил Колька, снимая с плеча коньки.

— Я, — вызвался Пашка.

— Не, пусть он, — кивнул на меня Колька («Знаете — сила!» — вспомнил я свое открытие).

Пашка необидчиво махнул рукой:

— Он так он.

Я на коньках маленько кататься умел. И не кататься даже, а стоять. Если меня тянуть за руку или подталкивать сзади, то я мог еще с горем пополам катиться. А чтобы самому разогнаться — ни-ни.

Примерно так же освоил коньки и Пашка: мы с ним прошлой зимой вместе учились.

А вот Колька уже заправски катался. Оно и понятно: Егору его друзья часто давали коньки на день-два, а Егор — Кольке. Стыдно было бы ему не уметь!

Коньки крепились к обуви веревками, которые у взъема закручивались крепкими, длиной сантиметров по двадцать, палками.

— Не больно? — спрашивал Колька, приспособивая к лаптю первый конек (мне это дело он не доверил).

Было больно, особенно пальцам, но я терпел. Лапоть мой под натиском веревок сжался, сморщился.

— Порядок. Давай вторую ногу.

Таким же макаром Колька прикрутил и другой конек.

— Теперь катись.

Я попытался сделать по гладкому льду шаг, но коньки разъехались в разные стороны.

— Давай руку, — бесцеремонным тоном, каким я командовал Колькой полчаса назад, сказал он.

Он взял меня за руку и потащил за собой. Шахтерские галоши его почему-то не скользили, Колька бежал по льду быстро и легко. Вот он достиг наивысшей скорости и, отцепив свою руку от моей, юркнул в сторону, а я, подгоняемый попутным ветром, далеко покатился один. Но тут левый конек неожиданно попал в трещину, и я спикировал. Упал на колени, больно ушибся.

Подбежали Колька с Пашкой, спросили в один голос:

— Не убился? А вообще понравилось?

— Понравилось, — сквозь слезы ответил я. — Кто следующий? — спросил и принялся откручивать палки.

— Почему так мало?

— И вам же надо, — не сознавался я в истинной причине. — А то вечер скоро.

И тут Пашка сказал:

— Ну их, коньки, айда, ребя, на санях кататься.

— На каких?

— На колхозных. Возле конюшни стоят. Анадьсь взрослые ребята укатили их и целый вечер катались.

— А сторож?

— Он приходит, когда стемнеить.

Мы с Колькой переглянулись и приняли Пашкино предложение без слов. К тому же мороз сегодня слабый, не страшно, если с саней свалишься в снег.

По тем же скользким овальным ступенькам мы вскарабкались на берег. Запыхались, Колька чуть коньки вниз не упустил: они у него связанные висели на плече.

На санях, я знаю, взрослые ребята и подростки лет четырнадцати-пятнадцати катались часто. Сядет их десятка полтора и несутся со смехом, с шумом-гамом вниз покатога оврага, что начинается невдалеке от колхозного двора. И нам, мелкоте, иногда выпадала удача скатиться со взрослыми. Сани неслись с ветерком, опасно кренясь на поворотах. Иногда и опрокидывались, и тогда все огромным черным комом летели в сугроб. Потом кто-то искал в снегу шапку, кто-то вязанки, а то и валенок, смеха и шума было еще больше. И странно, что при этом никто не получал ушибов. А может, кто и получал, но помалкивал — во избежание насмешек.

Сторож Пантелеич, сухонький, вечно покашливающий, незлой мужичонка, во время катания обычно стоял на верху оврага и, когда сани поднимали туда, жалостливо просил:

— Только не поломайте сани, а то я буду отвечать. И привезите их на место.

— Хорошо, Пантелеич, привезем, — успокаивали его ребята, но он не уходил и продолжал наблюдать за катанием. Может, в эти минуты вспоминал он свою далекую молодость, тоже, должно, озорную и шумную, и теплое чувство былой радости согревало вдруг его душу.

Но это взрослых да подростков не трогал Пантелеич, когда они без спроса угоняли сани. А как он на нас посмотрит? Прогонит от конюшни, а то и огреет ореховой палкой, что неизменно носит с собой? Вечеру зайвится на работу Пантелеич? Это Пашка так сказал. А вдруг он уже сейчас там? Ну, не он, так бригадир или председатель, что еще хуже. Председатель, говорила Даша, уже ругал Пантелеича: «Зачем разрешаешь сани брать? Поломають, а у нас их и так — раз-два и обчелся. Заметишь, кто сани береть, — сообщай мне, я

лично буду меры принимать». Вот еще не хватало, чтоб нас Пантелеич застал, доложил предколхоза. Каково будет Даше, если ее однажды вызовут в правление и скажут: «Ты оштрафована на столько-то трудодней». — «За что?» — «Твой брат замешан в краже саней». Ничего себе будет подарочек для сестры!

И чего меня во всякую шкodu вечно тянет?..

Тронулись на колхозный двор.

Нам повезло. Вдвойне. Во-первых, возле конюшни ни сторожа, ни бригадира, ни председателя, ни конюха, никого, в общем, из взрослого народа не оказалось, и мы легко нашли за конюшной сани без оглобель. Полозья малость примерзли, но мы втроем подналегли на сани, и они сдвинулись с места.

Во-вторых, нам еще вот в чем повезло. Едва мы откатили сани, как нас догнал Егор Зубков — он как раз из школы возвращался.

— Га! Во молодцы, и я с вами! — налетел он сзади, перепугав нас, и сразу начал помогать.

Так что сани доставили мы к оврагу без особого труда.

Много в моей восьмилетней жизни было тяжелых, грустных, пасмурных дней, но не затмить им нежданную радость редких, вот таких, как нынешний день. Мы неслись на санях под гору, они летели сами, будто по шучьему веленью, и не было на свете силы, способной остановить наш стремительный полет. Уши моей шапки весело трепыхались на ветру, в груди под ватным полусаком возбужденно билось такое маленькое — с кулачок, но согревавшее всего меня горячее сердце. Что значат нехватки еды, одежды, учебников, тетрадок по сравнению с этим белым снегом, с этими вот сказочными санями и лихим встречным ветром?! Ничего не значат!

Вскоре к нашей компании пристали еще двое мальчишек, и сани втаскивать на гору стало значительно легче.

Вот мы снова вспрыгнули на сани, Егор с криком «Держись!» толкнул их, и снова — ощущение полета. Зря участливые соседки говорят порой про меня, что несчастный я сиротинушка. Я сейчас самый счастливый! Ласкает меня снежный ветер, несут меня крылья-полосья, а в санях рядом со мной — ватага звонко хохочущих братьев. Какой же я сирота?!

Сани наконец остановились, и мы выпрыгнули на снег. Я при этом за что-то зацепился и упал. Глянул на левую ногу: не было печали, так черти накачали! Опорка развязалась, онуча сползла. Снял мокрые, многожды латанные вязенки, присел на снег, чтобы привести свою амуницию в порядок.

— Ты чего? — подскочил Колька.

— Да вот, опорка.

— Давай помогу.

— Помоги.

Мы вдвоем замотали как следует ногу тяжелой суконной онучей, надели лапоть, и Колька туго завязал опорки.

— Порядок?

— Порядок.

— Айда кататься...

Домой я вернулся затемно, весь в снегу, шмыгая носом, возбужденный и радостный.

— Где тебя черти носили? — охладила мою радость Даша. — Посмотри на себя: местечка сухого нетути.

Я молча снял полусак, бросил его на печь, вязенки сунул в печурку.

— Лапти в печь давай положу, — сказала менее строгим голосом Даша — отошла уже, — а то к утру не высохнуть.

Я снял лапти, подал их сестре.

— Катался на коньках?

— Не, — соврал я.

— Не бреши, вон носки скрючены, не вижу, что ль.

Катайся, катайся на свою голову. Новые лапти теперь некому плести, а галоши до половодья не дам носить.

— И этих хватить, — несмело возразил я.

— Если будешь их уродовать — ползимы, можить, всего и проходишь. Не знаю я, что ли...

Поворчала Даша и успокоилась, принялась за свое дело — вязать кружева. А я, поев картошки с соленой капустой, залез на теплую печь, лег на живот, подложил под себя ледяные руки и вскоре уснул самым счастливым на свете сном.

ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА

Оригинально же ты истолковал афоризм «Знание — сила!» Это только ребенок может так истолковать — наивно, но по-своему. Мое упущение, что я вам не подсказал истинный смысл этих слов.

Запоздавшее тебе спасибо за подтягивание отстающих учеников! Я ведь ваш класс отлично помню, и был я тогда приятно удивлен, что у Зубкова и Серегина появились четверки.

Растревожил ты мне душу эпизодом о катании на санях. Действительно, незабываемы ребячьи забавы. Мне вон скоро шестьдесят, а как явственно помнится детство! Я, наверное, до полуночи не мог сегодня уснуть, перебирая его в памяти, перелистывая, словно книгу, день за днем.

12

В конце декабря Даша велела мне подстричься.

— Отрастил патлы, скоро, как девке, нужно косы заплетать.

Насчет кос она, конечно, присочинила, но подстригался я последний раз еще в начале четверти, и, действительно, пора уже снова идти к Никите Комарову, Вов-

киному отцу. У него, единственного в деревне, есть машинка для стрижки волос — трофейная, и он бесплатно обслуживал всю нашу Хорошаевку — и взрослых, и детей.

Что бы ни делал Никита, чем бы ни был занят, если приходил к нему человек, он бросал любую работу и спешил обслужить очередного клиента. Он усаживал его посреди хаты на шаткую, скрипучую табуретку, накрывал плечи большим — с каймой — черным платком и доставал из сундука машинку.

Не знаю, как взрослые, а дети шли к Никите без особой охоты. Дело в том, что машинка у него была старая и, наверно, тупая и во время стрижки она вырывала немало волос с корнем. До поры до времени терпишь, потом начинаешь от боли закусывать губы, потом пускаешь молчаливую слезу. Никита, конечно, замечает твои мучения и пытается подбадривать:

— Терпи, казак, атаманом будешь.

Иной «казак», единожды подстригшись у Никиты, потом обходил его хату десятой дорогой, предпочитая быть стриженным овечьими ножницами и ходить затем с полосатой головой, чем пользоваться услугами Никиты.

Даша подстригать меня не любила, боясь теми самыми овечьими ножницами отхватить мне пол-уха или кусок кожи на голове. Так что иного выхода у меня не было, кроме как подставлять свои патлы под машинку Никиты Комарова.

Вот и очередной раз подставил. Сжав кулаки, зубы, чтобы не закричать от боли, я сидел мужественно и даже не вертелся. А Вовка смотрел с печи на мои муки и посмеивался:

— Пап, больно медленно ты его стрижешь, побыстрей надо, побыстрей.

Никита, срезая на макушке последний клоч, тоже усмехнулся:

— Придется... Машинка, должно, лучше стала стричь, раз терпеть...

— Куда там — лучше, — чуть не плача, обиделся я. — А ты не подначивай, — посмотрел я на Вовку. — Сам небось орешь, когда стригуть.

— Ореть, — поддержал меня Никита. — Все вы орете. Ты вот случайно вытерпел.

Может быть, и случайно, может быть, потому, что уже не дошкольник какой-нибудь я, а первоклассник как-никак.

Я соскочил со скрипучей табуретки и полез на приступок поближе к Вовке.

— Что ты тут делаешь? — спросил его.

— Ничего.

— Пойдем со мной.

— Куда?

— К деду Емельяну. Он болеит. Дуня, когда к вам шел, встретила меня, говорить: «Что ж ты деда не проведает? Он велел передать, чтобы проведал». Пойдем к нему, а?

Одни соседи у нас Серегины, другие — тетка Дуня и муж ее дед Емельян, старый учитель, учивший долгие годы, еще, рассказывают, с дореволюционных лет, в Борисовской начальной школе, что в пяти километрах от Хорошаевки. Месяца два назад он приболел, на ноги стал жаловаться, и пока не учит. Я его часто навещал — папиросы покупал для него, — он все на печи лежал, грел свои старые кости. В последний раз он подробно расспрашивал меня, как учусь, нравится ли учитель. Я сказал, что нравится, и он тоже похвалил Ивана Павловича: «Серьезный, я его еще с подростков знаю. Когда колхозы организовывали, он всё лозунги писал, плакаты, стенгазету рисовал. Рисовать он мастер. Так что тебе повезло с учителем». Я согласно кивнул. А потом дед Емельян попросил почитать. «Как хоть ты читаешь — послушаю», — сказал он и протянул газету. Я за-

рделся, боясь оконфузиться (газет я никогда еще не читал), и, сославшись на то, что меня ждут на улице ребята, пообещал почитать в следующий раз.

Теперь вот у меня идея родилась. Сходим-ка мы к деду Емельяну с Вовкой. Если оконфузимся, то вдвоем. А может, и не оконфузимся, наоборот, смелее будем держаться, увереннее.

— Ну, пойдем? — повторил я вопрос.

— У отца сейчас отпрошусь...

Отец Вовку отпустил, тем более к деду Емельяну, человеку в деревне уважаемому, только предупредил, чтобы нигде кроме не шлялся.

На дворе тихо, морозно. Снег вкусно похрустывает под ногами, беснуются воробьи возле свежего конского навоза.

Мы шли с Вовкой посреди улицы, цепко взявшись за руки.

Минут через пять (деревня наша небольшая, тридцать с лишним дворов) мы стояли на крыльце деда Емельяна и веником из вишневых прутьев обметали с ног морозный снег.

Робко вошли в хату. Дед Емельян лежал на печи, повернувшись к нам спиной. По тому, что он не пошевелился, мы поняли: спит.

Тетки Дуни дома не было. По соседям небось ходит, новости рассказывает. Это ее любимое дело — по соседям ходить.

Я нарочно кашлянул в кулак, чтобы дать о себе знать.

Видим: дед Емельян заворочался. Он повернул голову, долго всматривался в нас.

— Кто там?

— Я.

— Один?

— Нет, с Вовкой.

— А я гляжу: ай у меня в глазах двоится? Мне баб-

ка говорила, что ты обещал прийти... Ну, снимайте одежду, проходите.

Дед Емельян сел на край печи, свесив ноги на приступок. Квадратная сивая борода его, сивые же волосы были взлохмачены. Дед пригладил бороду ладонями, извинился:

— Вот уже и стричься-бриться перестал. Обленился, как старый кот. Но ничего, уже легчает, скоро топать начну... А это хорошо вы придумали, что вдвоем. Садитесь вот на приступок.

Он достал из-под подушки очки в кожаном футляре, зачем-то надел их. Причем одной дужки у очков не было, и дед Емельян вместо нее привязал суровую нитку, которую и намотал на ухо.

— Ну, что за погода на дворе? — видимо, просто так спросил дед Емельян.

— Мороз, — ответил я.

— Снег. Но и не особо холодно. Воробьи вон летают, — добавил Вовка.

— Эти холода не боятся.

Дед Емельян был одет в льняную рубашку-косоворотку, каких ныне не носят, на ногах у него были белые шерстяные носки.

— Есть хотите?

Мы переглянулись.

— Нет.

— Тогда, — сказал он мне, — пойди в другую комнату, там на этажерке, на средней полке, лежит книжка. «Рассказы» называется, Антон Павлович Чехов ее написал, принеси ее.

Через минуту я подал ему тонкую книжку в белом бумажном переплете.

— Еще в детстве, — листая книжку, говорил дед Емельян, — я услышал замечательный рассказ Чехова «Ванька». Я его перечитывал потом, может, тысячу раз — сейчас попрошу, чтобы вы его мне прочитали. Глаза

мои стали слабые, очки помогают мало, а по рассказу я соскучился... Вот он, на сорок первой странице начинается. — Дед Емельян протянул нам раскрытую книгу. — Ну, кто первый? Один устанет, другой продолжит.

— Давай ты, — шепнул я Вовке.

— Не, ты начинай, а я — за тобой.

Я взял из белых, сморщенных рук деда Емельяна книгу. Откашлялся, подвинулся поближе к небольшому окошку над приступком.

— «Ванька Жуков, девятилетний мальчик, — медленно начал я читать: буквы были намного меньше, чем в букваре, — отданный три месяца тому назад в учење к сапожнику Аляхину, в ночь под рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать...»

Я остановился, взглянул на деда Емельяна, снова прилегшего. Он уже снял очки и глазами сказал мне: хорошо читаешь, продолжай.

Продолжая, я вспомнил, что и мне надо написать письмо — брату в Ростов. Вишь, какой Ванька Жуков молодец. Дедушка его, Константин Макарыч, который служил ночным сторожем у господ Живаревых, и не просил написать, а Ванька сам догадался. Мне же брат целый выговор сделал: «Когда в школу не ходил — присылал мне письма, а пошел учиться — ни одного не написал». Нехорошо я поступаю, тем более, что мне не надо, как Ваньке, тайком письмо сочинять.

— «А вчерась мне была выволочка, — дошел я до Ванькиного письма. — Хозяин выволок меня за волосы на двор (я представил рождественский мороз, Ваньку, одетого в одну сатиновую рубашку) и отчесал шпандырем за то, что качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул (бедный Ванька, ему и поспать вволю не давали). А на неделе хозяйка велела мне почи

стить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала мне в харю тыкать...»

Чем дальше я читал, тем явственней представлял Ваньку, обиженного судьбой мальчишку, моего ровесника, которого те самые Аляхины плохо кормили, а спать велели только в сенах. Ну что бы Ваньке не родиться попозже, после революции, лучше, чтоб в одном со мной году. Мы бы с ним ходили в школу, катались на санях, ходили к Вовкиному отцу подстригаться. Я бы сегодня его взял с собой к деду Емельяну — вместе с Вовкой. И мы бы сейчас по очереди читали, только не вдвоем, а втроем...

— «...Милый дедушка, сделай божескую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности...»

На этом месте я задергал носом, начал часто останавливаться. Если б никого сейчас рядом не было, я бы расплакался.

— Теперь ты, — передал я книгу Вовке и уступил ему место возле окошка.

Дед Емельян слушал, прикрыв глаза. Вот он их вытер указательными пальцами. Неужели и ему хочется плакать, жалеючи Ваньку? А старики разве плачут? Я думал — только дети и женщины...

Вовка читал не хуже меня, а даже чуть бойчее, правда, при этом иногда неправильно прочитывал какое-нибудь слово, и ему приходилось останавливаться, повторять его.

— «Милый дедушка, — громким голосом продолжал чтение Вовка, — а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи: для Ваньки».

Барышня представилась мне в образе молодой красивой девушки, одетой в легкое белое платье. Она добрая и, конечно, не пожалеет для Ваньки ореха. Вот только

осмелится ли дедушка подойти к барышне? Он, наверное, очень робкий.

— «Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке».

— Так и написал? — перебил я Вовку.

— Так, — спокойно ответил Вовка. — А что тут такого?

— Не дойдет же.

— Почему?

— Нужно указать область и район, а также название деревни и фамилию дедушки. Меня Надя учила, я знаю...

— Тыше, — успокоил меня дед Емельян и приподнял раскрытую ладонь, — пусть дочитывает.

Рассказ вскоре закончился, но я не слышал, что было в конце. Так обидно мне было за Ваньку, так обидно!.. Не дойдет письмо, не узнает Константин Макарыч, каково живется его внуку у сапожника Аляхина, не попросит он для него гостинец, не заберет обратно... Будут Ваньку по-прежнему тыкать селедкой в харю, кормить чем попало, спать велят только в сырых и холодных сенцах.

— Ты прав: не дойдет. Жаль Ваньку, я столько в детстве слез пролил по его несчастной судьбе, — медленно говорил дед Емельян, затягиваясь папиросой. Он помолчал. — Хорошо вы читаете, бегло, молодцы. Теперь вам под силу будут любые книги. А в тех книгах написано про добро и зло, как они борются меж собой. Чаще в той борьбе побеждает добро, потому что его на земле больше. Но случается и наоборот. Так что, читая книги, учитесь быть добрыми и ненавидеть зло. Учитесь сочувствовать слабым, но добрым, как Ванька Жуков. И тогда вы, милые мои ребятки, вырастаете нужными людьми...

Звякнула щеколда, и в хату вошла тетка Дуня. Увидев меня и Вовку, она всплеснула руками:

— Да у нас гости. Двое... А я уж, грешным делом, подумала: забыли нашего деда.

— Не забыли, — ответил с печки дед Емельян. — Они мне такой рассказ прочитали... такой рассказ...

Тетка Дуня достала с полки неначатую ковригу ржаного хлеба, положила ее на стол.

— Ну, идите полдничайте, коли моего деда уважили...

На сей раз меня не нужно было упрашивать: здорово уже проголодался. Сели за стол.

Тетка Дуня нарезала тонкими скибками хлеб, налила в кружки топленого молока. Молоко еще было теплым, оно пахло... Ни с чем не сравнить запах топленого молока!

Мы не спеша разжевывали хлеб, запивая его желтым густым молоком. Тетка Дуня пододвигала нам скибки хлеба поближе, а с печи удовлетворенно поглядывал на нас старый учитель дед Емельян.

ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА

Может, сократить то место, где меня дед Емельян упоминает? Лозунги я писал, стенгазету выпускал — это верно. Но ведь у меня помощников сколько было! Про них же — ни слова. А это неправильно.

Тридцать первого декабря я прибежал из школы радостный и возбужденный. Дома никого не было, бросив на коник сумку, я смело полез в сундук. За бумагой. Надо было срочно, сейчас же написать брату письмо. Понимал: если сейчас не напишу, то напишу не скоро.

А брат очень просил сообщить, как я закончу вторую четверть.

Взял ручку, поставил на стол пузырек с чернилами, обмакнул перо, только не заржавленное, как у Ваньки Жукова, а новое. Подергивая носом, принялся старательно писать:

«Здравствуй, Леша!

Во первых строках своего письма сообщаю, что мы живы-здоровы, чего и тебе желаем. Надя тоже здорова, недавно проводывала нас, принесла мешочек — с мою школьную сумку — пшеничной муки.

Нынче мы учились последний день. Завтра начнутся каникулы. Целых две недели! Ура!

На последнем уроке Иван Павлович объявил, у кого какие отметки за четверть. Первыми он назвал отличников: меня, Вовку Комарова и одну девчонку из Болотного.

Завтра в школе у нас будет елка. Будут давать подарки — пряники и конфеты. Мы договорились с Пашкой ехать за подарками на лыжах — он на одной лыже, я на другой.

Поздравляем тебя с Новым 1948 годом! Нас Иван Павлович тоже поздравил. Он сказал, что прошедший год был для нас самым счастливым и мы его должны запомнить, потому что мы стали грамотными людьми и теперь нам открыты все дороги и вообще все ничем.

А еще Иван Павлович сказал, что с каждым годом мы будем жить зажиточней, потому что все дальше удаляются от нас разруха и война.

Лапти мои пока держатся. Если на морозе их смочить водой, то они покрываются коркой льда. С горки тогда в них катаешься, словно на коньках.

Больше писать нечего.

До свидания».

Я свернул листок треугольником. Весь длинный ростовский адрес брата поместился на треугольнике. На отчество, правда, места не хватило.

Вечером, когда за ужином мы дохлебывали миску постного картофельного супа, Даша достала с полки мешочек муки и сказала:

— Это на лепешки. Завтра их будем печь или прибережем муку?

Мы с Танькой переглянулись, ни она, ни я не решились ответить. Конечно, мы очень соскучились по хлебу, но вдруг не сразу наступят зажиточные времена.

— Молчите? — обрадованно поглядела на нас Даша. — Тогда прибережем.

ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА

Все, что ли? А я думал, ты будешь описывать все пять лет учебы — до того дня, когда ты попросил справку об образовании, а я, тогда уже директор семилетней школы, все медлил (жалко отдавать на сторону хорошего ученика), пытался отговорить тебя от поступления в ремесленное училище.

Теперь не по теме.

Живем мы с Татьяной Матвеевной одни, сын с дочерью после окончания институтов остались в городе, обзавелись семьями, и мы сейчас уже четырежды бабушка-дедушка.

Приглашаю тебя на юбилей. Через неделю, шестнадцатого июня, мне стукнет шестьдесят лет (подсчитал: когда я начинал вас учить, мне было всего лишь двадцать шесть). Заодно общественность подбивает отметить и тридцатилетие моего директорства.

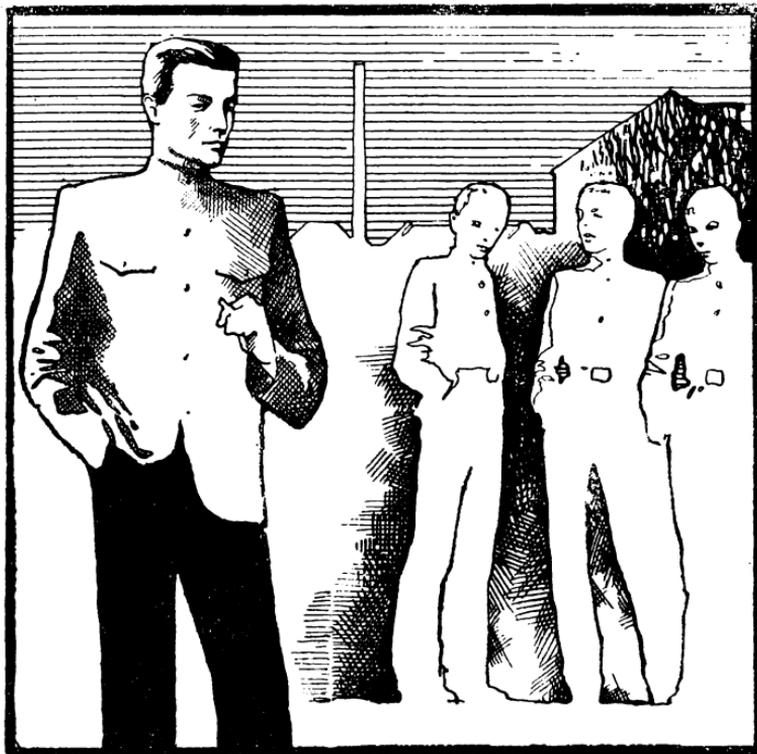
Приезжай обязательно — один или с женой.

Погода стоит жаркая, за полтора месяца не выпало ни одного дождя. Метеорологи предвещают засуху. На-

род, конечно, не страшится ее, нынче не сорок седьмой год — страна продовольствием людей обеспечит, но тяжело видеть, как гибнут на корню посевы.

И еще об одном. Недавно побывал у меня в гостях твой бывший дружок Вовка Комаров. Он теперь инженер-энергетик, работает на атомной электростанции. Брал почитать твою рукопись. Вернул со словами: «Все ничего, только заголовок неверный. Надо было назвать «Самый трудный год».

Я выслушал его и не согласился.



*Тринадцатая
группа*

Бандероль ему я отправил на училище, ни капли не сомневаясь, что он по-прежнему трудится там же, по-прежнему учит ребят-подростков сложному токарному делу. Свой сборник стихов я посылал ему с немудреной подписью: «Филиппу Петровичу Любушкину — с благодарностью за то, что сумел вывести меня и моих товарищей в люди».

Дней через десять я получил письмо, написанное на двойном тетрадном листе в клетку. Попадались милые незамысловатые ошибочки: невесть какой грамотой обладал Филипп Петрович. Но сколько отцовского тепла было в письме, откровения! Да еще и на «вы» ко мне обращался!

Он и впрямь продолжал работать в училище, теперь уже не в ремесленном — в профессионально-техническом (разница только в названии). Но не мастером был Любушкин, с мастеров нынче диплом спрашивают. Вернулся он на станок. Опять точит самые сложные детали — те, что ученикам пока не доверяют.

Меня он помнил («Это вас чуть было не затянуло в станок за подвязку шапки?»).

Книжка, написал, разрисована неплохо, обещал почитать.

Сообщал, что гостил у него недавно бывший комсорг нашей группы Василь Сахненко. И дал его домашний адрес.

Под конец и меня в гости звал.

Раз прочитал я письмо Филиппа Петровича, другой, третий. И пришла ко мне мысль: а что если собраться нам, давним соученикам, и вместе нагряться к Любушкину?

Поделюсь-ка с Василем своей идеей...

Год ушел на переписку, поиски друг друга, согласование места и даты встречи. Договорились собраться двенадцатого октября в Белгороде, на квартире Василя Сахненко, а оттуда махнуть в Шебекино. Благо расстояние невелико — всего сорок километров. Автобусы через полчаса ходят.

Не стану описывать, как мы встретились. Известно, что говорят люди друг другу после восемнадцати лет разлуки: как жили, где были, что делали и прочее. Скажу лишь, что вряд ли бы я кого узнал из бывших друзей-ремесленников, когда бы просто так, на улице, повстречал. Кто потучнел, кто полысел, кто подрое, а кто, наоборот, коренастым стал. Только Сашка Макашин — каким был костлявеньким, таким и остался.

А собрались вот кто:

Сашка, значит, Макашин, то есть Александр Кузьмич, — кавалер ордена Трудовой Славы III степени, лучший токарь Ново-Горловского машзавода;

Костя Ковалев — электросварщик шестого разряда из Алексеевки;

Витька (Виктор Васильевич) Томилка — работник Белгородского обкома партии;

Николай Медведев — бригадир бригады коммунистического труда одного из крупнейших строительных трестов Харькова;

Миша Алексенко — еще харьковчанин, крановщик;

Сашка Никитин — тоже из Харькова, инженер;

Иван Жилин — токарь шестого разряда из Алматы;

естественно, хозяин квартиры Василь Сахненко — мастер, продолжающий дело Любушкина;

ну и я, пермяк, — один из дальних гостей.

Обещали приехать токари Саша Кобзев из Омска и Толик Черкашин, он в Валуях живет. Что-то помешало прибыть Феде Кустерскому — нашему старосте, ныне токарю Харьковского тракторного, Алексею Ерошину — мастеру ОТК из Златоуста, Мише Бакланову — шоферу из Константиновки.

Выпили по стопочке, поблагодарили милую жену Василя Валечку — и в автобус, что дожидался нас у подъезда (Томилка постарался).

Ехали в Шебекино к Любушкину — разговорам не было конца. Не удивлялись, что многие сменили профессию: у каждого по-разному жизнь сложилась. Удивлялись тому, как это мы людьми стали, как это никто из нас в тюрьму не угодил. А ведь могли угодить. Многие ее нам сулили.

Ехали, и каждый мысленно возвращался в ту дальнюю пору.

2

Комендант училища по фамилии Таран тяжелым медным звонком нарушает утреннюю тишину. Он медленно проходит по коридору, останавливается возле каждой спальни и, на секунду перестав звонить, громовым голосом басит:

— Подъем!

И двигается дальше, настырно продолжая будоражить училище ненавистным звонком. Два или три раза мы этот самый звонок выкрадывали из комендантской. Таран после каждого случая приходил в нашу группу (а в том, что это наша проделка, он не сомневался) и умолял вернуть звонок.

— Иначе дружба врозь.

Мы и в самом деле боялись, что Таран перестанет дружить с нами, перестанет рассказывать, как он, бывший гвардии старшина, командир артиллерийского расчета, освобождал в сорок третьем году Шебекино, как его «блуждающее» орудие отражало бесчисленные танковые атаки врага, как во время одного из боев он встретил свою будущую жену... Эти рассказы мы готовы были слушать часами.

Но что делать со звонком?

Что придумать, чтобы вернуть его?

Чаще всего поступали так: мы гурьбой вваливались в комендантскую, и кто-нибудь один незаметно вытаскивал из-под полы здоровенный звонок с отполированной деревянной ручкой и ставил его на подоконник...

— Подъем! — невозможно приближается к нашей спальне Таран.

Спальня наша огромная — двадцать пять коек. Койки стоят парами. В проходах между ними — тумбочки, одна на двоих. Посередине спальни — голый стол с побитой доминошниками фанерой, четыре расшатанных стула. Вообще-то в начале года стулья дают почти на каждого, но они быстро ломаются, и комендант их потихоньку уносит. А нам того и надо — просторней.

От звонка большинство ребят уже проснулось. Но многие делают вид, что спят, натянув одеяла на головы. Каждый сейчас молит Тарана продлить сладчайшее мгновение утреннего сна. Ну что б коменданту прозевать подъем! На худой конец, почему бы ему не встретить кого-нибудь в коридоре и минуту-другую не покалякать с ним! Сейчас и минута — счастье. А Таран это счастье — вдребезги своим колоколом.

— Стырю звонок с концами, — ворчит недовольно Колька Медведев и накрывает голову подушкой.

Но вот Таран остановился возле нашей двери. При чем остановился надолго.

— Подъем, тринадцатая группа!

Таран дергает двустворчатую дверь, но она заперта изнутри — ножка стула в ручке.

— Тринадцатая, — заглядывает в замочную скважину Таран, — живей, живей! Медведев, Ерохин!

— Их вилль шлафен! — кричит Ерохин. Он заразился немецким языком, и Таран с удовольствием учит его. Иногда они втихаря засиживаются даже после отбоя. Разговаривают при этом между собой только по-немецки.

— Я тебе пошлафаю! — грозит Таран. — Жилин, выводи группу на зарядку! — обращается комендант уже к физоргу. Но если из двадцати пяти ребят кто еще и не проснулся, так это Жилин. Поэтому ответа не последовало.

Таран будит нас долго, но мы знаем, что ему некогда, что ему надо идти еще во второй корпус, а потому он все равно оставит нас в покое.

Так и есть. Постучав напоследок трижды в дверь, комендант удаляется.

А в коридоре уже начинается шум-гам. Хлопают двери, слышатся сонные голоса. Ребята из других групп торопятся во двор училища на зарядку, а с зарядки — умываться. Беготня поднимается, суматоха. Особенно нужно поспешать тем, кому на практические занятия идти: они с восьми начинаются, а до мастерских топать километра полтора.

У нас по расписанию сегодня тоже практика, но никто пока не то что спешить, а и вообще вставать не думает. Тепло под одеялом — даже нос высовывать не охота. Мыслимо ли такой рай покидать?

Ни за что!

Вслед за комендантом — минут через пять-семь — обычно ходит дежурный по училищу. Он проверяет, как идет подъем, тормозит проспавших, следит, чтобы все группы зарядку делали. И не просто так помахали руками, а выполнили весь комплекс.

Кто сегодня дежурит? Если воспитательница Антолина Алексеевна, то еще можно полежать. Мы ей крикнем, что встаем, — она на слово поверит и оставит нас в покое еще минут на пятнадцать. А нам только того и дай — полежать.

А ну как Авдеенко дежурит, мастер первой группы! Ух, сердитый какой! Будет стучать до тех пор, пока мы не откроем. Да еще и пригрозит, что директору доложит о нашем поведении. Нас, правда, мало пугают угрозы, потому что мы — особая группа в училище, на нас все рукой махнули, и никто нашим проделкам уже не удивляется.

Но неприятно все равно, когда тебя страшат...

Опасения наши сбылись: и впрямь дежурил Авдеенко. Вот он уже произнес по ту сторону двери привычное «Вставай пришел!». Произнес ласково, тепло, постучал косточками пальцев тихонько, как бы виновато, надеясь поднять нас по-доброму.

— Кустерский, открой...

В отличие от Тарана Авдеенко не к Жилину обращался, а к нашему старосте Феде Кустерскому. Знал, должно, что физорг спал крепче всех, а староста, наоборот, вставал раньше всех. Вставал, одевался, заправлял аккуратнейшим образом койку, но выходить из спальни не смел, не решался выделяться из группы. А группа еще нежится желала.

Федя оглянулся на голос Авдеенко.

— Может, пацаны, откроем?

— Фью! — свистнул Сашка Никитин.

— Рано еще, — пробормотал сквозь сон Костя Ковалев, самый надоедливый и вредный.

— Найн! — Это Ерохин.

Авдеенко, конечно, слышит эти голоса и начинает постепенно сердиться:

— Кустерский, открой, иначе будешь отвечать!

Федя старше всех года на три, он уже бреется, хотя

по документам и ему пятнадцать. Он выше всех и, пожалуй, сильнее, но не идет против группы. Он дипломатично отвечает Авдеенко:

— Кто закрывал, тот пусть и открывает.

— Ах, так! — негодует Авдеенко и начинает трясти дверь, надеясь, что или стул выпадет из ручки, или у Кустерского (а может, у кого другого) нервы сдадут, может, наконец, надоест этот стук-грюк. Двери на навесах сидят крепко, ножка стула тоже не из трухлявого дерева сделана, ручка прикручена надежными шурупами — не страшен нам Авдеенко.

— Медведев! Бакланов! Ковалев! Томилка! Жилин! — ослабев, начинает поименно взывать к совести ребят мастер первой группы — благо знает он нас всех. Но никто — ни звука. — Сахненко! Ты же комсорг, я буду ставить вопрос в комитете комсомола.

Василь Сахненко высовывает из-под одеяла нос и прислушивается: не повторит ли его фамилию Авдеенко. Если повторит, надо что-то делать, может, даже поддержать Кустерского.

Но Авдеенко больше к комсоргу не пристаёт, он, отдохнув, начинает снова ожесточенно дергать дверь.

И все-таки Федя не выдерживает. Он вскакивает на подоконник, возле которого стоит моя кровать, ловко выдергивает шпингалеты, рывком распахивает створки окна и прыгает вниз.

На меня пахнуло свежестью сентябрьского утра. Стало слышно, как идут, переговариваясь, на смену рабочие машиностроительного завода, как разгружают хлеб у продмага, как, плача, кричит чей-то ребенок: «Не хочу в са-дик!»

Я поморгал-поморгал — и сна как не бывало. «Что бы такое придумать?» — лежал и размышлял. Я не отличался в группе ни ростом, ни силой, я отличался различного рода выдумками. Выдумывал всевозможные проказы, розыгрыши, клички всякие любил выдумывать.

Не зря еще в деревне, в школе, мне, отличнику, больше всех попадало от учителя, частенько я за свое поведение в углу стоял, а то вообще за дверью оказывался.

Сейчас меня осеняет. Я вскакиваю с койки и шепотом, чтобы не услышал за дверью Авдеенко, говорю:

— Пацаны, айда все в окно. Авдей пусть стучит, а мы в это время уже зарядку сделаем.

Моя затея принимается безоговорочно. Мигом, стараясь, однако, не шуметь, ребята кинулись одеваться. Рубаху — раз-раз, ноги — в брюки, носки — раз, ботинки — раз, раз. Готово! Постели потом заправим, сейчас главное — оставить Авдеенко с носом.

Шустрый Томилка уже пошел вниз. За ним Костя Ковалев, Медведев. Выпрыгивают легко, привычно: мы окном, как второй дверью, пользуемся с весны до зимы. Тихо дела идут только у медлительных Ерохина и Мишки Алексенко. Да еще Жилин с трудом кулаками глаза протирает.

Живем мы на первом этаже, окна наши выходят не во двор училища, а на улицу. Так что никто из училищного начальства не видит, как мы, подобно десанникам, один за другим выпрыгиваем в окно. Выпрыгиваем — и, еле скрывая ухмылку, через узкий проход между зданием училища и оградой машзавода направляемся гуськом во двор.

Уговорились, что один все-таки в спальне остается. Ерохин добровольцем вызвался: для него зарядка хуже горькой редьки. Он откроет Авдеенко, когда все вышмыгнут.

И вот уже группа во дворе. Встали в две шеренги, сухощавый Жилин выходит вперед — ноги на уровне плеч — и командует:

— Упражнение на-чи-най! Раз, два! Три, четыре!

Мы кое-как машем руками, то и дело поглядываем на главный подъезд. Там вскоре появляется Авдеенко с красным от гнева лицом и грозит нам кулаком:

— Ну!..

А мы довольны. Авдееenko разыгран, и, кроме этого «ну!» , он ничего нам сделать не сможет.

3

Кто мы, что мы, тринадцатая группа, и отчего такие хорошие?

Половина из нас — детдомовцы, половина — домошники. Не из детдомов, значит. Все круглые сироты. Не знаю, как в другие, но в наше Свободинское специальное ремесленное училище принимали только круглых сирот.

Так вот, встретились мы первого сентября пятьдесят второго года. Всех нас наголо остригли, обмундировали в новенькое, не по росту, «хэбэ», привели в учебный корпус, посадили в класс и приказали сидеть тихо. Домошники покорно положили руки на парты, а детдомовцы потихоньку начали пошумливать: они побойчее. Но вот вместе с завучем вошла в класс красивая женщина с пышными каштановыми волосами, и мы притихли, уставившись на нее любопытными глазами. На щеках у вошедшей были ямочки, взгляд светился радостью и добротой. А еще она была стройная, хотя и не очень высокая.

Завуч представил ее:

— Это ваш мастер, Зинаида Егоровна.

Зинаида Егоровна чуть зарделась, и мы, двадцать пять пацанов, все вдруг тайно влюбились в нее, переживали вместе с ней ее волнение.

Завуч удалился, поклонившись на прощание.

А еще через несколько секунд Зинаида Егоровна подошла к столу и спокойно, доверчиво заговорила:

— Дорогие ребята, как вам уже сказали, я — ваш мастер, я буду учить вас токарному ремеслу. Сегодня мы пойдем в мастерскую, вы увидите, что из себя пред-

ставляют токарные станки. Я вам покажу, как работают на них, что можно делать на станках. Я надеюсь, что вам понравится профессия токаря...

Она говорила ритмично, будто рассказывала стихи, ямочки при этом то исчезали, то становились до смешного глубокими.

В мастерские мы шли строем. Мы были горды и счастливы на виду у всего городка тем, что вела нас такая красивая женщина — наш мастер. Наверняка самый лучший мастер на всем белом свете.

У нас было огромное желание учиться. Мы еще только не ведали, что это за профессия — токарь, но уже были убеждены: она нам придется по душе, и мы во что бы то ни стало научимся работать на станках. Ради Зинаиды Егоровны хотя бы. Иначе — что же это за любовь, если подведешь любимого человека?

В последующие дни так оно и было. Наша группа считалась в училище примерной. Мы раньше всех вставали, лучше всех следили за чистотой в комнатах, без опозданий ходили на самоподготовку (в нашем четырехгодичном училище мы, кроме специальности, должны были получить и семилетнее образование). Зинаида Егоровна не могла нарадоваться, глядя на нас, и при случае гладила то одного, то другого по голове, будто старшая сестренка, приговаривая: «Молодцы вы у меня, золотые...»

Но однажды, месяца через два, Зинаиды Егоровны у нас не стало. К нам в группу явился невысокий, худощавый парень лет двадцати и объявил, что он к нам прибыл после окончания техникума, что зовут его Александром Афанасьевичем Лукьяновым, что он будет вместо прежнего мастера. Мы опупели: «А Зинаида Егоровна где?» — «Она вышла замуж и уехала...»

— Как вышла? — подскочил к Лукьянову Сахненко.

— Обыкновенно. Как все выходят.

— И уехала?

— Да. Я вместо нее.
Тут все заговорили наперебой:
— Выжили ее!
— Не могла она нас бросить...
— ...ради какого-то мужа.
— Ребя, пошли завтра к директору!
— Что — директор? Давай лучше в министерство напишем.

Откуда ни возьмись — воспитатель, Иван Николаевич Конев. Увидал, что мы плотным кольцом окружили растерявшегося Лукьянова, крича и размахивая руками, стукнул кулаком по дребезжащей фанере стола:

— Что здесь происходит?
Мы оглянулись на Конева.
— Куда мастера дели?
— Вот он, перед вами, — не понял Конев.
— Этот нам не нужен, — кипятился уже Медведев. —
Где Зинаида Егоровна?

— Фью, — весело присвистнул воспитатель. — Была да сплыла. Увез ее муженек... в Подмосковье вроде...

— И она согласилась? Так-то мы и поверили... Выжили ее! Выжили!

Это я к Коневу подскочил. Глядел ему в серые кошачьи глаза и ни за что не верил его словам. Ну разве можно бросить нас, таких хороших и таких послушных? Ну пусть не всегда послушных, но и не вредных? Разве могла бы, скажем, моя старшая сестра Даша, если бы она вышла замуж, бросить меня? Ни за какие деньги! Так же и Зинаида Егоровна. Меня она, например, даже сильнее, чем Даша, любила, конфетками угощала. А когда узнала, что я покуриваю, не лозинкой меня стегать стала, как это иногда Даша делала, а слегка за ухо потрепала и предложила уговор: «Ты не куришь, я тебе — каждый день по пять карамелек...»

В глазах Конева — веселое лукавство, в моих — слезы.

Не сговариваясь, мы начали примитивно мстить за Зинаиду Егоровну!

А Лукьянов этого не понимал. Он требовал от нас послушания, но мы дерзили при любом удобном случае. Вот, например, мы буквально плетемся на практику. Мастер нервничает, кричит, требуя идти четким строем. Наконец он добивается своего, но тут же кто-нибудь бросает в него камешек. Лукьянов звереет, а мы прикусываем губы, чтобы не рассмеяться.

На самоподготовке многие лазают под партами, стреляют из рогаток. Лукьянов иногда дает виновным коленом под зад. Этот метод воспитания, надо полагать, был не лучшим, потому что мы не исправлялись и даже хуже ожесточались против мастера, против всего училища.

Мы теперь не учились, мы отбывали время. В мастерских многих ребят больше заботила проблема доставания ромбических напильников, из которых старшекурсники научили нас делать финки, чем стремление самим, без помощи Лукьянова, научиться затачивать резцы. В свободное время мы не шли в красный уголок или на занятия кружков, мы занимались более интересным делом: кто откручивал медные вентили с системы парового отопления, чтобы сдать их в утильсырьё, кто шел на Тускарь и пугал там гусей из самодельных луков.

В столовой мы беспощадно ломали вилки и ложки.

Мы никого не слушали, никого не признавали. Временами, правда, находил к нам ключик Иван Николаевич Конев. Он, недавний танкист, рассказывал немало фронтовых историй (потом в Шебекине Таран как бы заменил Конева); он водил нас в загородный лес, где устраивал стрельбы из малокалиберной винтовки; он даже в футбол с нами играл — и все это нам нравилось. Но некоторые наши проделки Иван Николаевич не переносил, срывался, начинал кричать, требовать объяснительных, и на какое-то время наша дружба с ним давала трещину.

Перед воскресеньем многие разъезжались в самоволки.

Сбежал домой однажды без увольнительной и я.

Ехал от Свободы до своей станции на рабочем поезде. Конечно, без билета. Конечно, на подножке. Какой же я ремесленник, если буду бояться на подножке ездить (хоть боязно было — до ужаса, пальцами вцепился в поручни — клещами не отдерешь)! Это пусть деревенские боятся! Я уже городской. Даже разговариваю теперь иначе, чем наши хорошаевские ребята. Они говорят: «стоять», «идеть», «везеть». А я — «стоит», «идет», «везет». Быстро переучился — после того как детдомовцы осмеяли мое произношение.

Нес меня поезд, трепыхалось мое сердце перепуганным воробышком. А вдруг сорвусь под откос? Ну и ладно. Конев с Лукьяновым за меня ответят, им попадет в первую очередь. «Почему, — спросят у них, — отпустили?» — «Мы не отпускали, он самовольно». — «Как — самовольно? А вы для чего приставлены?» — «Разве ж уследишь за всеми? Они вон как взбесились: подавай им Зинаиду Егоровну! Будто их, чертенят, подменили». — «Объяснение не принимаем, садитесь в тюрьму — и вы, Конев, и вы, Лукьянов, и вы, товарищ директор училища, — за то, что выжили Зинаиду Егоровну, за то, что ваш ученик сорвался под откос...»

Поезд начал притормаживать. Моя станция. Слава богу, доехал. Жив-здоров. Жаль только, что останутся на свободе воспитатель с мастером и директор...

Но все равно поволнуются: не я один сбежал — полгруппы...

Так мы с горем пополам и проучились год.

После летних каникул многие вдруг повзрослели — по четырнадцать стукнуло! — и стали вести себя тише, обдуманнее. Уже почти забылась Зинаида Егоровна, и если порой теперь мы дерзили или хулиганили, то не из-за нее, а, скорее, по привычке, по инерции.

... Лукьянов притерпелся к нам, мы — к нему. Даже временами уважали его. Особенно, когда он в отчаянии, не веря в наше окончательное перевоспитание, махал на нас рукой: «Что хотите, то делайте. По мне, хоть вообще не учитесь. Пойдете неумейками на завод, заработаете копейки — вспомните меня... Кто не хочет учиться — не неволю. Идите на все четыре стороны — ругать не буду».

Некоторые ребята, и я в том числе, и впрямь иногда юркали за общежитие и уходили болтаться по городку. Лукьянов по возвращении из мастерских действительно не ругал нас. Наоборот даже, первыми впускал прогульщиков в столовую, приговаривая: «Сачкам — почет и уважение! Дайте дорогу уставшим и проголодавшимся!»

Как после этого не уважать Лукьянова!

Но мало-помалу дисциплина налаживалась, у сачков все больше пробуждалась совесть, и на практику, да и на теоретические занятия теперь являлись почти все.

Наверное, наша группа стала бы со временем снова одной из лучших, когда бы в начале зимы, поближе к Новому году, среди ребят не поползли слухи: Свободинское специальное ремесленное училище ликвидируется, вместо него создается училище механизации сельского хозяйства.

И Лукьянов, и Иван Николаевич Конев, и другие сотрудники на наши вопросы, правда ли это, сначала с видом несведущих людей пожимали плечами, но в скором времени, видимо и сами огорченные ликвидацией РУ, уже откровенно отвечали: «Да, такой приказ получен...» Мы испуганно допытывались: «А как же нас?» — «Старшекурсников — на заводы, вас и первый год обучения — по другим училищам».

Невесело стало нам жить. Не хозяевами мы теперь были в училище, а временными постояльцами, которых не сегодня завтра могут направить неизвестно куда.

Пропала охота учиться, стали все какие-то равнодушные и... жестокие. Вошло в моду прыганье на койках. При этом неимоверно, до пола, растягивались сетки. А, плевать, нам здесь все равно не жить.

В течение недели оголились все стулья в красном уголке: из дерматина мы шили кошельки, хотя класть в них было нечего.

На партах все принялись вырезать большущими буквами свои фамилии — на память.

Дирекции, конечно, были известны наши проделки, и она не чаяла расстаться со своими воспитанниками. Добра от них уже не жди.

С выпускниками — легче. Их действительно уже в феврале отправляли на заводы: теорию они прошли.

Для нас, должно, подыскивать места было труднее.

Но подыскали-таки в конце концов. Какую группу — в Курск, какую — в Пену, какую — еще куда. В середине апреля проводили и нас — в Шебекинское ремесленное училище. Вместе с Лукьяновым, кстати.

На вокзале нас никто не встречал. Два километра мы по весенней слякоти (падал снег с дождем) тащили свои чемоданы да узлы. И сами еле тащились, устав от бессонной езды в трех пригородных поездах. Лукьянов шел позади, злой и неразговорчивый. Он ведь лично давал телеграмму с просьбой встретить нас. Но... То ли телеграмму не получили, то ли некого было послать на станцию.

— Сейчас придем, и первым делом я брошу кирпич в окно кабинета директора, — ворчал Костя Ковалев, волоча деревянный чемодан за оторвавшуюся с одного конца ручку.

— Я тебе брошу, — пригрозил Лукьянов. — Вы хоть тут себя ведите нормально, не позорьте меня.

Не ждали нас на вокзале, не ждали и в училище. Дежурный комендант сказал, что он не слыхивал о нашем приезде. И добавил, что, конечно, спальни для нас

не готовы. Но надо отдать должное Тарану (он в тот день дежурил): сразу же побежал к начальству. За ним — Лукьянов.

— Стойте здесь, — сказал он нам (а стояли мы в длинном полутемном коридоре: всего одна лампочка горела в высоко подвешенной люстре).

Мы уселись на чемоданы, на подоконники. Пробежавшие и проходившие мимо здешние ученики косились на нас: откуда-де такие шкеты взялись (мы были моложе здешних и действительно невзрачнее; к тому же осунулись от усталости, опустили наголо стриженные головы).

— Пойду кирпич искать, — не вытерпел Костя Ковалев.

— Сиди! — цыкнул на него Федя Кустерский.

Явился Лукьянов, потирая ладони, сказал:

— Все в порядке — устраивают. А мы тем временем — в столовую. За мной!

— А шмотки?

— Оставляйте.

— Свистнут.

— Комендант присмотрит.

Видимо, училищное руководство виноватило себя за не очень теплый прием, иначе чем объяснить, что в столовой нам выдали по две порции второго, по два компота с изюмом. Наелись мы, что называется, от пуза.

— Теперь жить можно, — скалясь, гладил живот Ковалев.

Вскоре освободили для нас одну классную комнату, поставили койки и всю группу поселили туда (в Свободе мы жили по четыре-шесть человек).

Ладно, смирились мы, так, может, еще веселее будет.

Училище в Шебекино было двухгодичным. Принимали сюда с семиклассным образованием, независимо от того, есть у тебя мать-отец или нет. Нам поначалу

это казалось странным, мы посчитали оскорблением перевод из специального училища в обычное, где жуже и кормили, и обмундировывали (мы, правда, ущемлены не были). Но не это теперь обидело нас.

Вскоре выяснилось, что нашу группу некому учить. Преподаватели здесь были лишь по техническим предметам, а для нас, заканчивающих только шестой класс, естественно, учителей не было.

Дирекция училища наверняка принимала срочные меры, но попробуй убеди расшумевшуюся ребятню.

— Зачем нас привезли сюда?

— Мы министру напишем! (Ох, уж сколько раз мы ему «писали»!)

— Пацаны, айда на речку, раз так!

Лукьянов загородил собой дверь спальни:

— Не разбегаться! Третий урок — история! Историк тут есть.

— А что два часа делать?

— Ждать. Шахматы вон возьмите.

— А-а...

Мало-помалу один за другим группа разбрелась, растворилась, исчезла. Когда позвонили на третий урок, в спальню заскочил Лукьянов и опешил: были тут лишь Федя Кустерский да Миша Алексенко (у него болела ушибленная нога).

— Где? — уставился мастер на старосту.

— Не знаю...

— Ну, пусть только в столовую сунутся!

К обеду все были в сборе, и Федя передал слова Лукьянова.

— Попробует не пустить — министру напишем. — Это Костя Ковалев угрозой на угрозу ответил.

— А давайте мы сами обедать не пойдем, — предложил Медведев.

— Не, и так уж кишка кишке марш играет, — не согласился Жилин.

И все-таки большинство поддержало Медведева. Что начальство не имеет права наказывать голодом учеников — это мы усвоили, пожалуй, лучше других наук. А потому даже интересно было покуражиться.

И вот уже уговаривает нас дежурный по училищу идти в столовую, а Медведев строит рожищу:

— Мы уже порубали.

— Где? — удивился дежурный.

— За свои...

— Зачем же так?

— А нас не признают здесь... Лишние мы...

— Да бросьте вы, ребята, все уладится со временем.

— Когда уладится, тогда и рубать пойдем.

Но вот влетел разъяренный Лукьянов, оттолкнул дежурного и хрипло скомандовал:

— Быстро в столовую!

Разговоры прекратились при Лукьянове, который знает наши характеры как свои пять пальцев, ерепениться нет смысла, тем более что все изрядно проголодались, и группа, понурив головы, вроде как на казнь ее вели, двинулась в столовую...

Нам дай только повод, хоть маленькую зацепочку отступить от заведенных правил!

С радостной надеждой на срыв занятий мы ждали следующий день.

Но — напрасно. Уже во время завтрака нам объявили, что первыми двумя уроками будут алгебра и геометрия. Готовьтесь, сказали, не забудьте взять с собой тетради и учебники.

Математик оказался... плотником из пригородного колхоза. Маленький, рыженький, выбритый, но давно не стриженный, он сразу же не внушил доверия, а когда мы, расспросив его, узнали, кто он и откуда и что преподавал он математику еще до войны в одной сельской школе, то и совсем обрадовались: этот учить особо не заставит.

Алгебра ушла на разговоры, во время которых мы еще попытались, что привлекли плотника к преподаванию случайно (его соседка работала в районо) и что приехал он в училище на велосипеде. «А куда вы его дели?» — насторожился Ерохин. «В конторе поставил», — ничего не подозревая, ответил нам математик.

И опять пошли разговоры о том о сем. До звонка.

На геометрию половина группы не явилась. Математик растерялся, спрашивал то одного, то другого, где остальные, все, однако, пожимали плечами: не знаем, мол. Математик случайно глянул в окно и обмер: во дворе наши ребята гоняли на его велосипеде. Он явно растерялся: продолжать урок или пойти отобрать велосипед? Минуту-другую стоял у окна, нервно постукивая пальцами по подоконнику. Затем повернулся к нам, присутствующим, и тихо попросил:

— Вы посидите, я — сейчас.

И выскочил из класса: велосипед все-таки ему было жалко.

Ну а мы кинулись к окнам. Вскоре с высоты третьего этажа мы увидели такое действие. Математик выскочил во двор и стал что-то кричать — видимо, предлагал поставить велосипед на место. Промчавшийся мимо Ерохин обернулся и тоже что-то крикнул. Скорее всего — «Догоняй!» Но догнал его не математик, а Костя Ковалев, который вспрыгнул на багажник и заулюлюкал. Математик же стал ожидать, пока Ерохин завершит круг по двору. Ерохин догадался, что его хотят схватить, и, когда до математика оставалось метров десять, он круто развернулся и помчался в обратную сторону.

Математик видит такое дело — припустился вдогонку.

О, что творилось во дворе! Смех! Свист! Ерохин с Ковалевым успели соскочить с велосипеда и передать его Жилину, к которому подсел тощий юркий Томилка.

Математик, сделав один круг, понял бесполезность погони. Он, тяжело дыша, искал теперь помощи у обступивших его ребят.

— Сломают ведь... А мне на работу на ём... Отдайте... — взмолился он.

Математика успокоили:

— Мы только по одному кругу... Идите занимайтесь...

Урок был сорван, и больше математик-плотник к нам не заявлялся...

Но кое-как мы все-таки учебный год заканчивали, не всю программу шестого класса выполнили, но нам сказали, что наверстаем упущенное в сентябре.

В сентябре так в сентябре. Мы не против. Мы даже предлагали Лукьянову совсем закончить учебу, лишь бы нам справку дали, что у нас семилетка есть. Не нужны мы тут никому, притворно плакались мы в жилетку, учат нас как зря, воспитателя у нас нет (оба училищных воспитателя действительно отказались взять нашу группу), и вообще нас кроме как за шпану никто здесь не принимает.

На каникулы мы разъехались кто куда и кто к кому: к дядькам, теткам, старшим сестрам и братьям, просто к дальним родственникам или даже к соседям. Уезжали без билетов, конечно, хотя деньги на дорогу нам выдали. Научились уже убегать от ревизоров и злых проводников (у нас имелись самодельные ключи от вагонов), а если и попадались, то умели пустить слезу, разжалобить даже самого ревизора-служителя железнодорожного транспорта, и нас не то что не высаживали, а, наоборот, приглашали пройти в вагон и занять пустующее место.

Поднадоевшие друг другу за два года совместной учебы, мы, однако, к концу полуторамесячных каникул начинали скучать по своей группе. И понятно: кто бы где бы у кого ни жил эти полтора месяца, всяк должен

был блюсти определенный семейный порядок, желатель-но было во всем слушаться старших, дабы и в следую-щий раз не отказали в приеме. И каждый из нас при этом чувствовал неприятнейшую зависимость: те же дядьки, тетки, дальние родственники кормили нас, и мы не могли это не понимать, не брать в расчет.

Нет, хорошо в гостях, а в училище все-таки лучше! Вольные мы тут, свободные, всегда накормят, оденут и не упрекнут, что зря хлеб едим. А кто упрекнет — мож-но и отбрехаться: «Не ваш лично хлеб едим, а государ-ственный».

К удивлению дирекции, тринадцатая группа раньше других, за три-четыре дня до начала занятий, была в полном сборе. Дирекция даже растерялась: как быть с нашей кормежкой, ведь каникулярные нам выплатили вплоть до первого сентября?

Как-то выкрутились, однако.

Прибыл раньше времени и я. Отдыхал я в своей родной Хорошаевке. Но не дома, а у тетки Маруськи. В нашей хате уже жили чужие люди. Даша уехала вместе с молодым мужем на целину («Хе-хе, — прозре-вал я, — Зинаида Егоровна всего лишь в Подмосковье укатила, а моя Дашенька — в десять раз дальше, на Алтай. Оказывается, женщин только поманить стоит...») и велела мне, как младшему в семье и имевшему на хату все права, продать ее этим самым чужим людям.

Все лето я удил рыбу, катался на велосипеде, играл с деревенскими сверстниками в футбол. А по вечерам с дочерью тетки Маруськи Соней на танцы ходил, в Бо-лотное, соседнюю деревню. Мы оравой, конечно, ходили, но Соню я особо оберегал, защищал ее от злых шу-тников, каковых немало повсюду среди нашего брата — подростков.

Жилось мне легко и безоблачно, пока в середине лета я не получил письмо от... Лукьянова (адреса наши у него имелись). Почему именно мне, а не Кустерскому

или Василию Сахненко прислал он письмо, я сказать не могу. Просто, наверное, рассчитывал на мое понимание — понимание одного из лучших учеников. Что не осужу его, нашего мастера, и другим осудить не дам.

А написал он вот что:

«...К сожалению, ни с тобой, ни с остальными ребятами я больше не увижусь. Этим летом я поступил в индустриальный институт на очное отделение. С грустью покидал я Шебекино, с грустью расстаюсь с вами, хоть доставили вы мне немало хлопот и огорчений. Но мне кажется, что дела бы у нас пошли в будущем так, что утерли бы мы нос другим группам. Почему? А потому, что всегда мне нравилась в вас одна великая черта — дружба. Дружбой вы сильны, ребята, — и в плохом, и в хорошем. Хорошего у тринадцатой группы в последнее время стало больше. Главное теперь — не растерять этой тяги к хорошему.

Уезжая, я просил директора проявлять о вас особую заботу. Он обещал.

Не поминайте меня лихом, ни на кого из вас зла я не держу (даже на Ерохина и Ковалева). Так и передай ребятам».

И вот оставшиеся полмесяца каникул я жил сам не свой. Замкнулся, перестал на танцы ходить, все чаще подумывал: не махнуть ли в Шебекино? Но вовремя останавливался: приеду, а в училище — никого. Некому мне будет прочитать лукьяновское письмо, не с кем поделиться горем (кого-то еще взамен пришлют? Лукьянов хоть и поддавал нам коленом под зад, но мы к нему привыкли, притерпелись, как, наверное, и он к нам).

Тетка Маруська, добрая душа, глядела на меня и ничего не могла понять.

- Ты не заболел ли, случаем?
- Да нет.
- А то медку вот съешь...
- Спасибо.

— А может, водочки? — шепнула она мне серьезно.

— Что вы! Эту гадость! Эту отраву!.. Да все у меня нормально. Не болен я... Просто... Просто по ребятам соскучился.

И вот явился в числе первых. И каждому приезжающему давал читать письмо Лукьянова.

Погоревали мы, погоревали, но делать было нечего, и потихоньку стали смиряться с потерей Лукьянова, как раньше смирились с уходом Зинаиды Егоровны.

Мучил всех только один вопрос: кого дадут вместо Лукьянова?

— Авдей, должно, подменять будет, — предположил Ерохин.

И точно, два-три раза нас водил на практику мастер первой группы Авдеенко. Строгий он был, жестокий, а не боялись мы его. Работали кое-как, с практики убежали, курили почем попало, играли между станками в догонялки...

Не выдержали нервы у Авдеенко: целый месяц у нас практики не было. Одна теория. А это скучнее.

Мастера нам пока подыскать не могли, но воспитателя нашли — Бориса Ивановича Шутеева, год назад демобилизовавшегося из флота. Высокий красивый парень, глаза вечно веселые, разговаривает с хохотком. Нам такого и надо! Веселого!

Избрали Бориса Ивановича комсоргом училища, а нашу группу дали ему, должно, в нагрузку. Как бы то ни было, а теперь не так стало сиротливо жить.

Борис Иванович называл нас салажатами, иногда по-лукьяновски давал пинка, но мы на него ни капельки не обижались. Уж больно он свойский был: в домино с нами после занятий резался до отбоя, ходил в футбол с нами сражаться и почти поголовно всю группу сманил учиться играть на струнных инструментах. Сам он на мандолине играл, но мы, кому не досталось мандолин, расхватали балалайки и гитары. Руководитель кружка

старик Суханевич только успевал записывать, кто какой инструмент взял. Тринадцатая группа теперь брэнчала по всему училищу, потому что многим в клубе было заниматься неинтересно и мы разбредались по коридорам, в спальне сидели или во дворе.

Борис Иванович торжествовал: группа при деле, на виду, не шляется по городу в поисках сомнительных приключений.

Так-то оно так было, да если б еще тринадцатая группа занималась как следует. Параллельно с изучением программы седьмого класса и специальных предметов мы тихо наверстывали непройденный материал шестого. Неинтересно было, временами учителя вели уроки кое-как, для них были дикими наши вольные хождения с парты на парту во время занятий. Попытались некоторые из них припугнуть нас, накричать, требуя дисциплины, грозились сообщить... родителям, но методы, возможно пригодные для нормальной школы, тут давали обратные результаты. Первым в таких случаях вставал из-за парты вредный Костя Ковалев, направлялся к выходу и с издевкой цедил:

— Пойду покурю, а то еще начнут спрашивать адрес родителей...

Ближе к зимним каникулам, однако, мастера для тринадцатой группы дирекция подыскала. Он вошел в нашу спальню после завтрака, когда мы тихо-мирно покуривали, сидя на только что заправленных койках, — высокий, плечистый, медлительный. Прошел на середине спальни, снял шапку, поздоровался:

— Вы будете тринадцатая группа?

— Мы. А вы кто?

— Я — ваш мастер, Николай Иванович Романцов. Из разных концов спальни посыпались голоса:

— И-и...

— Кончилась лафа...

— Да не бойся, он у нас долго не задержится.

Романцов сделал вид, что последних слов не услышал, но поморщился. Сел на один из скрипучих стульев, вынул из бокового кармана список группы:

— Давайте знакомиться.

Его обступили, как и всякого нового человека, принялись расспрашивать. При этом Костя Ковалев бесцеремонно дымил у самого уха мастера.

Расспросили и выяснили: Романцов пришел с машзавода, работал он там токарем. Женат, имеет двух девочек, жена — библиотекарь. Романцову — сорок четыре года, воевал в артиллерии, имеет пять медалей, в том числе «За отвагу». Когда-то курил, но бросил.

Романцов только успевал отвечать (что и говорить, прелюбопытная публика!), причем вопросы сыпались самые разные и неожиданные. Вроде такого:

— Вы надолго к нам? — Это Колька Медведев.

Романцов замаялся, кашлянул в кулак и вместо ответа сказал тоже совершенно неожиданное:

— Давайте договоримся: не курить. Я насчет этого дела строг.

Костя Ковалев, заулюлюкав, с окурком в рукаве нырнул к выходу.

Романцов оказался строгим не только в вопросе курения. Видимо, его предупредили, какие мы сорвиголовы, подсказали, что только строгостью нас можно обуздать. Это была его главная ошибка.

Началось противоборство. Победы в нем тринадцатая группа не жаждала. Скорее всего, свои выходы мы расценивали как игру. А игра без азарта — не игра. Вот мы и втянулись в нее.

Романцов же, обладая твердым характером, стремился, в свою очередь, во что бы то ни стало одержать верх. Он вел одновременно борьбу с курильщиками, заставлял ходить четким строем из училища в мастерские и обратно, двадцать раз останавливал нас по дороге, равняя этот самый строй, работать приучал без бегов-

ни... Да все покрикивал, все на высоких тонах. Что нам, естественно, не нравилось.

Ответные меры были довольно простые. Кто не хотел работать, тот всячески увивался от работы. А что касается строя, так даже смирные ребята теперь разваливали шеренгу, без конца сбивали ногу, куражились и дурачились. А про отчаянных и говорить нечего. Назло мастеру озоровали по пути на практику, рассуждая так: нам, дескать, торопиться некуда, можем хоть на пуже ползти — никуда от нас практика не денется.

Терпения Романцова хватило месяца на два-три. Лопнуло оно в тот день, когда заядлый курильщик Ерохин, у которого мастер отнял пачку «Примы», в отместку незаметно бросил спичку в ящик с масляной ветошью.

Романцов как раз на улицу вышел, в туалет. Возвращается, а в цехе — настоящий пожар.

Кое-как потушили его, хорошо, что огонь далеко не пошел.

Виновника пожара, конечно, не нашли (избави бог, чтобы мы кого выдали!), и Романцов, как мы разнюхали, опасаясь, что из-за нас, чего доброго, можно и в тюрьму угодить, вскоре рассчитался.

И опять наступили для тринадцатой группы непонятные времена. Опять не стало практики, и староста Федя Кустерский как-то с огорчением высказал свои мысли (после отбоя это было, когда Таран выключил общий рубильник и ребята попрятались под одеяла):

— Пацаны, а нам ведь год всего остался... Работать же мы как следует не умеем. Зря мы Романцова выжили. Это из-за тебя, Ероха, он ушел...

— Найн, геноссе Кустерский! — выкрикнул Ерохин.

— Понайнить бы тебя по башке, — проворчал староста.

И стало совсем тихо в спальне, только слышно было, как кто-нибудь шмыгал носом или ворочался, скрипя

пружинами койки. Задумались ребята над словами Кустерского. И впрямь не везет группе. Романцов был строгим, а кого еще дадут? Может, новый мастер в сто раз будет строже старого.

Да и научит ли за год?..

Приуныли мы, притихли и незаметно запосапывали. ...И вновь Авдеенко с нами занимался — по совместительству. День свою группу обучал, день — нашу. Мы, говорил он, стояли у него поперек горла, но до конца учебного года Авдеенко все-таки нас кое-как довел.

В середине июля мы разъехались еще на одни каникулы и в конце августа — опять же первыми — благополучно слетелись. Отдохнувшие, загоревшие, удивительно подросшие за каких-нибудь полтора месяца.

Вернулись и узнали, что четвертый, последний, год обучения мы начнем без мастера: желающих учить тринадцатую группу в Шебекино не находилось.

4

Училище наше выпускало небольшие сверлильные станки. Все делали сами ребята — будущие кузнецы, формовщики, слесари, токари. Правда, самые сложные детали нам не доверяли. Самую сложную механическую обработку выполнял токарь Филипп Петрович Любушкин, невзрачный на вид, но веселый человек; как и все токари — сутулый, малость кривоногий от долгой службы в кавалерии. У него был отдельный, свой ДИП-200, который после смены он буквально вылизывал, нежно ухаживал за ним, как в армии за Гнедком. И если Любушкин заставлял кого-либо из нас за своим станком, то мгновенно багровел, налетал, словно коршун, и отталивало локтем растерявшегося ремесленника:

— Не смей!

А вообще-то он был запанибрата с нами. Иногда, тайком, чтоб не увидел мастер, давал закурить, да и сам

не раз стрелял у нас, если кончались папиросы. Подшучивал и посмеивался, когда у кого-нибудь с треском ломался резец, сгорало сверло или из патрона вылетала на полных оборотах болванка. Последнее он называл артобстрелом и после шутки подходил к незадачливому ученику и объяснял, как нужно правильно крепить деталь, чтобы и станок не изуродовать, и самому не пострадать.

В то сентябрьское утро, когда мы выпрыгнули в окно, в мастерские нас привел Авдеенко. Любушкина за станком почему-то не было, хотя, по обыкновению, он приходил раньше учеников. Стояла тишина, и станки подходили на молчаливое стадо телят, построенных в длинные ряды. Работать никакой охоты не было, тем более наступила теплая золотая пора бабьего лета, над пожухлыми кустами порхали последние бабочки, чирикали, свистели, стрекотали птицы. А в мастерских было пасмурно и холодно. Поеживаясь, мы стояли перед столиком мастера.

Авдеенко как будто смотрел в наши души. Он сообщил, что сегодня практики не будет, потому что ему надо отлучиться по неотложным делам.

— Но, — поднял он вверх указательный палец правой руки, — это не значит, что вы свободны. Вся группа поступает в распоряжение старшего мастера.

И только Авдеенко проговорил это, двустворчатая дверь заскрипела, медленно распахнулась и вошел, опираясь на черную узорчатую трость, старший мастер. За малый рост и излишнюю полноту ребята его дразнили Колобком и не любили: криклив и зол был старший мастер — пуще Авдеенко.

Сиплым голосом старший мастер поздоровался, взглянул на Авдеенко, спросил:

— Все?

— Все, двадцать пять.

Авдеенко уступил стул старшему мастеру, и тот сел.

— Кто у вас староста?

Кустерский вышел на полшага из строя.

— Я.

— Фамилия?

— Кустерский.

— Значит, так, Кустерский. Половина группы пойдет на стройку (к мастерским делали небольшой пристрой, и учеников не раз уже привлекали для разных подсобных работ). Три человека пойдут со мной, остальные — на уборку территории...

Группа зашевелилась, зашептала, довольная, что в такой погожий день не придется стоять возле скучных, равнодушных станков. Только один комсорг Василь Сахненко вылез — больше всех ему нужно:

— А когда же учить нас будут?

Старший мастер повертел круглой головой.

— Кто это сказал?

— Я, Сахненко.

— Не в свои сани не лезьте, Сахненко. Придет время — научим.

Костя Ковалев шепотом добавил:

— Хэчишь — оставайся тут один. А я не хэчу.

Перед тем как нам разойтись, Авдеенко объявил:

— К обеду я буду, так что никто никуда.

Меньше всего желающих было идти на стройку: кому охота таскать в ведрах раствор, кирпичи на носилках? Кустерский с трудом уговорил самых безотказных.

Со старшим мастером пошли Томилка, Ерохин и я. Что за работа нам предстояла, мы не ведали, но верилось, что мы не прогадали.

Старший мастер хромал впереди, мы тащились за ним. Вот он подвел нас к своему «Москвичу», стоящему возле дощатого забора, и остановился.

— Значит, так, — сказал старший мастер. — Ты, — он тростью указал на меня, — пойдешь со мной за ведром, а вы, — он кивнул на Томилку с Ерохиным, — осторожно

соскребайте грязь. Надо машину в божий вид привести. Помыть надо.

И закипела работа! Мы по очереди носили воду, по очереди окатывали ею «Москвича», стараясь попасть в стекла: интересно было, пропускают все же они воду или нет? Пока не пропускали. Но вот Ерохин, перед тем как вылить на машину очередное ведро, маленько приоткрыл дверцу. Часть воды выплеснулась на сиденье.

— Пропускают! — загоготал Ерохин. — Негодные у Колобка стекла.

Мы с Томилкой принялись с притворным усердием ветошью вытирать машину. Одновременно найденным под ногами длинным гвоздем я сделал три-четыре глубокие царапины на капоте — чтоб знал Колобок, как использовать дармовой труд! Ерохин, перед тем как промакнуть воду на сиденье, потоптался на ветоши и затем стал елозить ею по сиденью, оставляя грязные следы.

— Скажу, что так и было, — усмехнулся он. — Заодно и прочим Колобка.

Не знаю, как бы оценил нашу работу старший мастер, но мы ее не закончили: часа через полтора явился Кустерский и позвал в мастерские. На вопрос «Зачем?» он пожал плечами:

— Колобок велел...

И вот мы стоим перед столиком в мастерских, построившись в две шеренги. Наши ряды поредели: пять человек ушли в лес, должны к обеду вернуться, староста же утверждает, что они где-то здесь, отлучились, поди, по какой нужде.

За столиком сидит старший мастер, курит «Беломор». По правую сторону от него стоит Авдеенко (неужели что случилось, раз вернулся быстро?), по левую — Филипп Петрович Любушкин (неужто опять у него инструмент покрали? Такое однажды было, и нас вот так же точно, при Романцове еще, выстраивали). Но Любушкин пребывал в хорошем настроении, в уголках рта

он старательно прятал улыбку, и, следовательно, нас собрали не для очередной проработки.

Старший мастер стряхнул пепел с папиросы на пол, кивнул на Кустерского:

— Все?

— Все. Остальные — вот-вот...

— Ладно, без них... Значит, так, тринадцатая группа, — обратился он ко всем и исподлобья посмотрел на стоявших перед ним, — Любушкина знаете?

— Знаем, — ответили два-три слабых голоса.

— Сегодня подписан приказ: он у вас мастер. Смотрите, тринадцатая группа, если и с ним не поладите, больше мастера вам не дадим. Со вторым разрядом всех выпустим! — сипло выкрикнул старший мастер. — Пеняйте потом на себя! Вопросы есть? — Он встал со стула.

— После обеда опять на стройку?

— Нет, уже не пойдете. Что дальше — Филипп Петрович скажет.

И старший мастер, взяв под локоток Авдеенко, удалился вместе с ним. Минуты две мы стояли друг против друга молча — Любушкин и тринадцатая группа.

Затем заговорил он.

5

— Признаться, ребята, я не хотел к вам идти: и в заработке теряю, и в начальстве сроду не был — образование не то. Но сосватали, партбюро уговорило: надо. Согласился с условием, что всю сложную работу, мою, стало быть, никому не отдадут. Ее будете делать вы... Дальше. Весь мой инструмент, все приспособления передаю, ребята, вам. Чур, только не растаскивать... Дальше. На подъем я к вам приходить не буду, я лучше пораньше в мастерские, чтобы приготовить вам все. Вы — без меня в мастерские, без меня — домой. Строем там или как — ваше дело. Ругать за это не буду (э-э, мето-

дом Лукьянова действует!). За опоздание же, едри его кочерыжку, три шкуры спущу (такого Лукьянов не позволял). Хотите — обижайтесь, хотите — нет... Еще. Все полученные деньги делим поровну (это внове!), чтоб не было обид: тому калымную работу дал, тому — пустячную. И чтобы все старались, чтобы по совести было... Кому же это не по нутру, пусть честно скажет — я того отпускаю на все четыре стороны и дирекции об этом не скажу, даю слово. Все у меня.

Любушкин сцепил руки за спиной, прошелся туда-сюда вдоль столика. Вверенная ему группа молчала, осмысливая сказанное.

— Закурить будете давать? — прервал вдруг тишину Костя Ковалев.

— Сегодня, Костя, тебе дам, — улыбнулся Любушкин. — Но последний раз. Курить же никому не запрещаю... Только не у меня на глазах.

И, к Костиному удивлению, Филипп Петрович достал отливающий медью портсигар, раскрыл его на ладонях и предложил ошалевшему Косте:

— Бери.

Потянулся и Ерохин, но Любушкин прикрыл портсигар перед его носом:

— Тюти! Одному Ковалеву.

То ли это был хитрый расчет, то ли вышло все само собой (что вероятнее всего), но эта сценка нам понравилась. Понравилось, что Любушкин не запрещал вообще нам курить (а сколько мастеров и воспитателей начинали работу с этого запрета!), что строем ходить не обязательно, что по утрам не будет торчать под дверь. Вот житуха начнется с таким мастером! И главное — обещает не доносить начальству о прогулах! Полная свобода! Полное доверие! Только б Любушкину боком не вышли они, свобода и доверие...

Мы стоим, переглядываемся, понимающе ухмыляемся: житуха!

Филипп Петрович тем временем достал из кармана пистончика часы, долго, прищурив глаз, присматривался к стрелкам, чуть шевелил губами, — должно, что-то высчитывал. Затем обратился ко всем, глядя, однако, на одного Кустерского:

— Вот что, ребята, еще пятьдесят минут до обеда. Но я отпускаю вас. После обеда — сюда. Начнем инструмент делить, кое-что на складе получим... Кто знает, где я живу?

— Я знаю — на мотоцикле, помните, катали? На Советской, двухэтажный дом. — Это Жилин, физорг наш, отозвался.

— Зайдешь, Жилин, ко мне домой... вот с ним, — указал Любушкин на меня (я тоже с новым мастером однажды катался), — скажешь жене, чтобы перекусить дала. Я тут кое-чем займусь пока... А теперь — в училище...

Мы деранули к выходу. Ерохин, Костя Ковалев, Томилка, Никитин — первые. Эти по пути из мастерских обязательно заглянут на близлежащие огороды, где еще можно найти дозревающие поздние помидоры, одиноко торчащую морковку или другую какую овощь. Хотя кормили нас сносно, но свеженький помидор, яблоко, добытое, естественно, в чужом саду, арбуз, снятый на ходу с колхозной машины, были в такое время настоящим лакомством. Так что понять Ерохина и компанию можно было. Почти все мы подобным промыслом занимались. В разной степени, правда.

Но большинство ребят, выйдя на улицу, приостановилось. Как идти? Строем или стадом? Любушкин сказал: «Ваше дело». А все-таки?

Староста тихо скомандовал: «Становись!» — но его никто не слушается. Слушаются обычно мастера. А мастера нынче рядом нет, он остался в мастерских. Он будет там что-то готовить для нас, его не интересует, как мы пойдём.

«Ваше дело...» Задал Любушкин задачу. Мы-то понимаем, что Филиппу Петровичу небезразлично, как мы воспримем его слова. Впрочем, шут его знает, может, для него главное — научить нас работать, а не строем ходить?

— Кто хочет, становитесь, — говорит отчаянно староста.

Василь Сахненко, Жилин, Алексенко, еще несколько ребят становятся по двое. Кустерский командует: «Шагом марш!» — и тринадцатая группа, вразнобой шаркая по асфальту рабочими ботинками, трогается в училище.

Порядок был только в голове нашей маленькой колонны. Хвост плелся всяко: по три, по четыре, а то и по одному. Плелся хвост и посмеивался: во мастер попался — полную самостоятельность дал! Житуха!

Мы с Жилиным не выдержали такого хода: нам еще нужно было зайти домой к Любушкину, на Советскую улицу. Это в двухстах метрах от училища. Недалеко. Но надо еще успеть и самим пообедать.

Жилин — длинноног, костляв, не ходит, а бегаёт, я еле успеваю за ним, то и дело дергая носом от такой веселой ходьбы.

— Ты что, Жила, как на пожар?

— Не успеваешь — отстань. Я один смогу...

Хитер, друг ситцевый! Только он, что ли, хочет новому мастеру угодить? Я тоже хочу! Может, за это он еще, глядишь, на мотоцикле покатает. Эх, как здорово лететь с Любушкиным по булыжным улицам Шебекина! На тротуарах, я заметил, все прохожие рты раскрывали от зависти. Эх, еще бы так хоть разок!..

И я, часто дыша, не отставал от Жилина.

Квартира Любушкина находилась на втором этаже. Жилин нажал кнопку звонка.

Открыла дверь девочка лет двенадцати. Придерживая толстую черную косу, закинутую на грудь, она тонким, как у котеночка, голосом спросила:

— Вам кого?

— Жену, — буркнул я.

Дочка Любушкина не поняла меня.

— Нас Филипп Петрович послал. Чтоб перекусить ему принесли. Мать дома?

— Нет, она на почте. Но я сейчас приготовлю. Проходите.

Мы зашли, с опаской ступая на светло-зеленую ковровую дорожку своими пропыленными ботинками.

— Проходите в комнату, — закрывая черное блестящее пианино, сказала девочка.

— Danke, — ответил я по-ерохински, — мы тут, в коридоре... Побыстрой только.

Жилин толкнул меня в бок пальцем: чего, мол, торопишь?

Дочка Любушкина кокетливо проскользнула в кухню.

Жилин облизнулся ей вслед.

— А вы кто будете? — услышали мы с кухни.

— Люди. — Это я ответил.

— Из тринадцатой группы, — пояснил Жилин.

— Это вы и есть неисправимые? Я от папы про вас знаю. Он говорил, что на вас в училище все рукой махнули: ничего из вас не получится. Это правда, что ли?

Вот те раз! И ей, посторонней девчонке, все о нас известно! И она знает, что мы неисправимые! Как же тогда папа ее, наш новый мастер Филипп Петрович Любушкин, согласился возиться с нами? Наверное, он вместе со своей дочкой-пианисткой не верит в нас.

Я хотел ответить резко и дерзко. Но вдруг почувствовал, что не могу говорить, перехватило мне дыхание. От волнения ли, от стыда ли...

Она вынесла газетный сверток и протянула его Жилину.

— Пожалуйста... Только осторожней: там яйца...

Я первым пулей вылетел из квартиры Любушкина.

В день очередной практики Таран особо не задерживался у нашей спальни: позвенел, прокричал дважды: «Подъем!» — и потопал дальше. Что случилось с ним — никому невдомек. Подменили сегодня настырного Тарана! Или он заодно с Любушкиным — тоже хитрит. Похоже, похоже...

Тишина — никто и не подумал встать. Мало для тринадцатой группы одного Тарана. Мы привыкли, чтобы и дежурный по училищу будил нас, а то и — ближе к восьми — мастер. Но дежурного пока нет, а мастер... Если верить Любушкину, он из дому сразу в мастерские подается. Мы без него туда должны явиться.

Лежим, один только Федя Кустерский потихоньку одевается.

Но вот скрипнули пружины и под Василем Сахненко. И он встал. Ерохин шикнул на него:

— Ду вас?

— Хватит дукать, вставай.

— А куда спешить?

— Сегодня ж практика...

— Во дает! Его еще дежурный не будил, а он — практика. Дверь не смей открывать, а то...

Василь спокойно принял вызов:

— Что — «а то»?

— Получишь...

— Ха-а...

Ерохин ростом и телосложением одинаков с Василем, и грозитя он понапрасну: Василь его не боится. К тому же драться Ерохин абсолютно не умеет. Не уступают ему ни хиленькие Томилка, Костя Ковалев, Малашников, ни мы с Сашкой Никитиным — низкорослые, плотненькие. А про Василя и говорить нечего. Василь запросто ему сдачи даст. Потому он так смело стянул с Ерохина одеяло:

— Счас вынесу в коридор!

Ерохин не ожидал такого, выкатил гневные глаза на Сахненко:

— Что, подлизаться к Любушкину хочешь? Ступай, а мы с Карасем останемся...

Карась — это я, это мое прозвище. С недавнего времени мы дружим с Лешкой Ерохиным. Он пытается вовлечь меня в изучение немецкого языка, и я, человек поддающийся, не сопротивляюсь, охотно беру у Лешки уроки. И хотя я знаю, что он всем нутром своим ненавидит токарное ремесло, а у меня по практике все ладится и получается, я не теряю дружбы с Ерохиным. Причина? Он ловко умеет добывать курево.

Как мне сейчас поступить? На чьей стороне быть?

Ворочается группа, не спит — не я один делаю выбор: встать или не встать? Ох и задал задачу Любушкин! Нет его, а как будто чувствуешь его присутствие. Будто он сейчас из мастерских видит, что делается в спальне. Видит, но ни слова не говорит. Ждет...

Восемнадцать человек явились на практику. Негусто, надо прямо сказать. При Романцове и то не всегда такой плохой была явка. Пятеро ушли сразу же после завтрака в лес, двое — Ерохин и Медведев — потерялись по дороге. Я Ерохина пытался уговорить («Давай не тикать, может, на хороший станок Любушкин поставит, может, работу интересную даст»), но Лешка был железным и, как только увидел выскочившую из ворот кирпичного завода «кукушку» с тремя вагончиками, качающимися по узкоколейке из стороны в сторону пуще обыкновенной телеги, подцепился за последний вагончик. И Медведева с собой прихватил. Тоже в лес.

Группа не шла, а волочилась. Этакой полутолпой и ввалилась в мастерские. Тут же сразу все и разбрелись по углам: кто станки крутил, кто по стеллажам рыскал (может, вчера из первой группы кто чего забыл, так надо «прибрать» вовремя).

Любушкин в новом комбинезоне, свежий, деловой, улыбающийся, стоял за столиком. Поправил восьми-клинку с поблескивающим от масла козырьком, помянул Кустерского:

— Больше никого не будет?

— Нет.

— И ладно. Станови этих.

Федя Кустерский трижды своим хриплым голосом скомандовал: «Стройся!» — но группа его приказанию внимала неохотно. Тогда Любушкин прокричал:

— Ребята, ходи ко мне!

Эта необычная команда понравилась нам, и мы быстро встали полукругом возле столика. Новый наш мастер открыл журнал и, не глядя в него, заговорил:

— Я думаю, все пришли. Кто не пришел, как я и обещал, того отмечать не буду. Передайте, ребята, им. Остальные начнем работать. Значит, задания такие на сегодня. — Любушкин поднес к прищуренным глазам журнал. — Алексенко — на шестнадцатый станок, будет обдирать шкивы; Бакланов — на мой ДИП, чистовая обработка шкивов...

Мы не верили происходившему. Любушкин и впрямь доверял нам свой ДИП-200! Да еще начал с кого — с Бакланова! Мишка Бакланов был если не худшим, то среди худших. Ему Лукьянов, а потом и Авдеенко с Романцовым сложнее шайб и болтов работы не давали. А тут сразу — шкивы! По шестому разряду!

Сам Бакланов зарделся: не насмеются ли над ним?

Жилину дали резать заготовки для леркодержателей, мне — делать их чистовую обработку (пятый разряд). Раньше изготовление этой детали доверяли самым лучшим. Причем каждый начинал с нуля. А Любушкин разделил операции. Жилину, значит, черновую работу, мне чистовую («Так быстрее, — объяснил Филипп Петрович, — да и в один котел мы заработанные деньги будем складывать»).

У меня задрожали руки. В прошлом году, на экзаменах, я уже точил два леркодержателя. Признаться, если б не помощь Романцова, я бы провалился. Он, считай, расточку по калибру сделал, а не я. Увидал, что я заплюхался, одну за другой заготовки в брак пустил, ну и отстранил меня, за считанные минуты подогнал отверстие под калибр.

Теперь, правда, не экзамены, время не будут засе-кать, но кто знает, как дело пойдет.

Впрочем, посмотрим. Трус в карты не играет.

Пока я переживал, Любушкин закончил разнарядку. Напоследок, как бы между прочим, сказал:

— Штангеля я вам выписал новые, резцы получил, прокладки берите в моем шкафу. Прошу только, едри его Kocheryжку, беречь инструмент... И последнее: через неделю работами поменяетесь... Все, ребята, согласны?

.. Не скажу, что мы сразу переменились. Но зайти в то утро в мастерские Романцов, он бы не поверил, что перед ним тринадцатая группа. Никто не слонялся от станка к станку, никто не играл в догонялки, никто не работал для вида, включив малые обороты и минимальную подачу, — чтобы было время поглазеть по сторонам.

Все, склонившись над станками, сопели от старания, я, например, при этом аж язык высунул. Неужели возы-мели такое действие слова Филиппа Петровича: «Я не думаю, что мы хуже первой группы, мы ей еще нос утрем, вот увидите»? И может, не все слова, а только одно коротенькое слово — «мы». Мастер, похоже, всерьез причислял себя к группе, он теперь был причастен ко всем нашим успехам и неполадкам. Ну и стоило ли под-водить такого человека?

Нет и нет. Мы хоть и безалаберные, но дружные. Не там, где нужно, правда, чаще всего эта дружность проявлялась. Но мы еще себя покажем! И училищным педагогам, и... дочке Любушкина (почему-то мне каза-лось, что и она считает нас обреченными)...

... Филипп Петрович ходил от станка к станку. Поправлял, если что не так, то одного, то другого водил к точителу, показывал, как нужно правильно затачивать тот или иной резец, сверла. Да причем делал это без излишней поучительности, с шуткой-прибауткой, и, когда начинало у кого-то получаться, он еще и пальцем в бок ткнет:

— А ты боялся! Не робей, воробей, мы еще и не такое делать научимся, едри его кочерыжку!

Меня, например, он поучал так:

— Эх, два белых, а третий как снег, не на глазок, не на глазок подавай. На лимб смотри. Ты что, лимбу не доверяешь? Вот так! Да нос выбей, а то сопишь громко...

Мы до того заработались, что не заметили, как подошел обеденный перерыв. Любушкин о нем и напомнил. Он встал посреди пролета, вздел вверх руки и прокричал:

— Заканчива-ай!

Несколько станков перестали урчать.

— Заканчива-ай!

Стало еще чуть тише.

— Бакланов, выключай.

Мишка Бакланов приподнял неимоверно испачканное чугунной пылью потное лицо.

— Я не пойду, Филипп Петрович.

— Негоже, Бакланов, что это за работа — на пустой желудок? Перед боем принято кормить коней досыта.

— Филипп Петрович...

— Не дури, Бакланов. Если хочешь, пораньше с обеда приходи. Это разрешаю... Кустерский, выводи свою команду!

Устало проталкиваясь в двери со скрипучей пружиной, мы один за другим повыползали на улицу. И тут, щурясь от солнца, опять топтались в смятении: строиться или можно так идти? Вон Жилин с Сахненко первыми

встали, за ними робко примостились Бакланов с Томилкой. Слышу, меня за рукав тянет конопатый Сашка Никитин:

— Давай станем...

А Любушкин, не обращая на группу внимания, тем временем выкатил из-под навеса свой ИЖ, одним движением ноги завел его, ловко оседлал и покатил, прокричав нам:

— Не опаздывать, ребята!

Молча, недружным строем топали мы в училище на обед. Не глядели друг другу в глаза. Почему? Да мыслимо ли, тринадцатая группа сама, без принуждения построилась! Нам казалось, что встречные на нас показывают пальцем: «Смотри, воспитали-таки голубчиков!»

Нам стыдно было оттого, что начинали походить на другие группы. Такими смиренными шли, что хоть по головке каждого гладь. И каждому из нас непривычным было такое наше поведение. Каждый с удовольствием деранул бы в училище сам по себе... Если б не незримая тень Любушкина, который... не требовал от нас никакого строя.

7

Любушкин потихоньку-помаленьку подбирал ключик к нашим неустоявшимся, полудикарским душам. Он, наверняка не только не прочитавший ни одной книжки по педагогике, но и не знавший смысла этого слова, как-то запросто, непринужденно, стихийно пробуждал в нас страсть к учебе, уважение к существующим порядкам. Причем, в отличие от предыдущих мастеров, не он за нас, а мы за него переживали: как бы, случаем, ему не попало от Колобка или директора за наши какие-нибудь проделки. Влюблялись мы в Филиппа Петровича день ото дня все больше, и эта, как и всякая, влюбленность творила с людьми невозможное. Не зря

ведь сам вечно ворчащий старший мастер Колобок как-то сказал про нас Любушкину (Костя Ковалев слышал): «Они у тебя, гляжу, скоро авдеевскую группу перегонят». На что Филипп Петрович не без гордости отвечивал: «Я, что ли, зря их на мотоцикле каждый вечер катаю?»

Может, Любушкин и в шутку упомянул про мотоцикл, а может, и всерьез, не знаю. Но точно уверен, что не бесследно проходили те предвечерние часы, когда Филипп Петрович катал нас то по городу, то по ровному лугу вдоль речки Нежеголь на своем сноровистом «ижаке». Нам нравилось, прижавшись к теплой спине мастера, мчаться и по накатанной дорожке, и по мягкой, молодо пахнущей отаве. Какой мальчишка (а мы были еще мальчишками) не проникнется сыновней любовью (а мы были к тому же сиротами) к человеку, который доставляет столь неожиданную радость! И у кого хватит совести завтра, в мастерской, работать спустя рукава, абы как, на глазах этого человека?!

Да ни у кого. Вот и старались.

Любушкин стоял посреди спальни, держа в руках свернутую в трубочку бумажку, а мы по его приказанию у ourselves на койках.

— Сообщение есть одно, ребята, — блестя глазами, объявил Филипп Петрович. — Приятное. Я даже на радостях, с вашего разрешения, пивка себе выпить позволил (ну и молоток у нас мастер: никто из сотрудников училища не осмелился бы признаться ученикам в подобном, а Любушкин с нами — на равных). Так вот, — продолжал Филипп Петрович, — я вам зарплату принес. За месяц, что мы с вами работали, получилось пока неплохо. На каждого по девяносто рублей. Как и обещал, я разделил всем поровну...

Что тут началось! Костя Ковалев залез с ногами на койку и стал подпрыгивать чуть ли не до потолка. То-

милка завершал, Мишка Алексенко замяукал, Сашка Никитин даже присвистнул. Мыслимо ли — по девяносто рублей! Это ведь только положенная третья часть, а всего, выходит, мы по двести семьдесят рублей заработали. Раньше даже самые прилежные ученики до двухсот не дотягивали. Вот это Любушкин, вот это мастер!

Филипп Петрович развернул бумажку, разгладил ее на столе, вытащил из нагрудного кармана пиджака ручку-самописку. Присел на скрипучий стул.

— Прошу тишины! По списку будем... Та-ак... — не спеша отыскивал Любушкин в ведомости первого, хотя на память знал, кто у нас первый. — А-лек-сен-ко...

Медлительный Алексенко, привставая с койки, зацепился штаниной за пружину, вырвал клок и под общий смех приблизился к мастеру.

— Вот, — указал Любушкин место в ведомости, где надлежало Алексенко учинить роспись за девяносто рублей (в последний раз он получил всего семнадцать сорок).

— Ба-к-ла-нов, — по слогам вызвал Филипп Петрович второго ученика. — Вот тут... Так... — И вытащил пачку десяток... — Считаем до девяти (в последний раз Бакланов получил одиннадцать тридцать пять).

Дошла очередь и до Лешки Ерохина. Ерохин с полмесяца сачковал, а потом сбегал. «Ерохин, не дури, — говорил ему Федя Кустерский, — деньги поровну будем делить, мы за тебя не обязаны вкалывать». А он отвечал: «Их воле ниht арбайтен. — И добавлял по-русски: — Плевал я на ваши копейки».

Жилин обещал Ерохину бока память за то, что Любушкина подводит, а он петушился: «Вспомни, как сам по неделям прогуливал... Тебя никто не мял?» — «Так это когда было?» — «Тебе тогда сачковать хотелось, а мне — сейчас». — «Не дадим денег, посмотришь».

И вот Любушкин остановил палец под его фамилией.
— Е-ро-хин.

— Их! — выкрикнул Лешка и ощерил свой мелкозубый рот. Повернул ехидненько голову влево, повернул вправо, как бы хвастливо заявляя: «Ну вот и я получаю». Нашел глазами Жилина, подмигнул ему: — А ты, Жила, грозился: не дадим! Хе-хе! Всем поровну! И мы пахали!

И тут с места сорвался комсорг Василь Сахненко. Он встал между столом и Ерохиным:

— Филипп Петрович, этому денег не давайте!

Тишина в спальне сделалась неимоверная. Только слышно частое дыхание Сахненко. Ерохин за его спиной стоял, опешив.

Любушкин посмотрел снизу вверх на комсорга, нахмурился, почесал за ухом, сказал:

— Можно, я закурю? (Это чтобы мастер курил в спальне — не было такого!)

Он долго вытаскивал папиросу, долго копался в спичечном коробке, видимо, оценивая обстановку, и, когда наконец раскурил «прибоину», кивнул комсоргу:

— Сядь, Вася. Ты прав, а деньги Ерохин получит: я обещал поровну... Вы ведь, ребята, уважать меня перестанете, ежели я слово не буду держать.

Но попятился не Сахненко, а Лешка Ерохин.

— Бери, Алексей, — протянул Любушкин авторучку, — расписывайся.

Василь маленько остыл, показав кулак Ерохину, отошёл от стола и уселся на своей тумбочке.

Ерохин же, крадучись, ни на кого не глядя, взял у Филиппа Петровича авторучку дрожащими пальцами, расписался.

Любушкин протянул ему пачечку денег.

Что, интересно, творилось на душе у Лешки в эти минуты? Что ощущал он: стыд, унижение, подавленность, вину за свои прогулы? Все, что угодно, только не радость. Иначе бы не выскочил, как пробка, из спальни с незаработанными девянстами рублями.

«Ох, не завидовали мы сейчас Ерохину! Кто имел хоть сколько-нибудь прогулов, попритих.

И у меня начинало тревожно колотиться сердце. Я, правда, не прогуливал. Но чуть было не дал маху. Чуть было не соблазнил меня вчера Фокеев. Подошел он ко мне со своим оруженосцем Малашниковым, безвольным подхалимом и неряхой-троечником, который по любому пустяку любил с каждым задираться. Физически слабенький, он получал за это соответствующую порцию затрещин и подзатыльников.

— Хочешь подзаработать? — спросил меня накануне вечером Фокеев.

При этом он подмигнул Малашникову: смотри, мол, еще ломается.

С Фокеевым я дружбу не водил. Вернее, дружил всего, может, неделю-другую. Еще в Свободе, когда нас только что зачислили в училище. Был он большой проныра и воришка. На базаре запросто у теток воровал прямо из-под носа табак-самосад, яблоки, семечки — все, что под руку попадет. А уж про бахчи и огороды и речи не могло быть: тут Фокеев действовал открыто, еще смелее и наглее.

Ходил с ним на эти операции и я, но всегда с боязнью. Удивлялся: как это можно спокойно брать чужое, не тобой выращенное? Поймают вдруг, сообщат в деревню Даше — она наверняка приедет и с меня семь шкур спустит.

А когда Фокеев по ночам стал у своих ребят содержимое карманов проверять, я решил потихоньку отойти от него. А он, видя мою неспособность в воровском деле, не здорово и жалел об этом — других дружков нашел. И не беда, что в чужих группах.

Но когда Фокеев делился со мной какой-либо поживой, приговаривал при этом: «Зря ты дружбу со мной потерял, зря. Ты вон бычки сшибаешь на асфальте, а я «Беломор» курю».

— Так хочешь подзаработать? — повторил вопрос Фокеев.

— Сколько? — уходил я от прямого ответа.

— От вас зависит, — кивнул он на Малашникова. — За сколько загоните, столько и будет. На троих — по ровну.

— Что загонять?

— Ботинки.

Значит, верным был слухок, что недавно при получении очередной смены обуви Фокеев сумел со склада «увести» пару ботинок.

С одной стороны — на городском базаре продавать ботинки опасно, милиция может поймать, а идти в деревню — далековато; а с другой стороны — очень уж заманчиво: деньги почти что в руках, стоит лишь ботинки на них обменять. К тому же ничего страшного, если и поймают, — я ботинки не крал.

А с третьей стороны... Фокеев хочет и меня вовлечь в свои делишки. А попадись мы, он может заявить, что ни о каких ботинках и слыхом не слыхивал, отстаньте-де от меня: кого поймали, с того и спрашивайте.

Но самое главное — мне нельзя прогуливать: подошла моя очередь работать на ДИПе. А это ведь мечта каждого из нас. Это праздник — работать на самом новом станке, точить самые сложные детали!

— Подумаю, — сказал я Фокееву.

Он скривил рот:

— Еще думает...

Ночь я спал беспокойно. То кошмары всякие снились, и я просыпался в холодном поту, то, проснувшись, мучил сам себя вопросом: что выбрать? ДИП или деньги? Деньги, ясное дело, всегда и всем нужны. Но и на ДИП Любушкин не каждый день ставит.

Утром я набрался смелости и сказал Фокееву:

— С Малашниковым не пойду.

— Один?

— Один — тем более.

— Вонючка, — презрительно отвернулся он от меня и сплюнул на пол.

На практику Фокеев и Малашников не явились.

Любушкин их отсутствия вроде бы и не заметил...

И вот идет выдача зарплаты. Чует вину свою Малашников, хоть и пытается шутить-смеяться, Василию Сахненко шоколадные конфеты незаметно предлагает. (Я это заметил. И услышал, как Василь ответил: «Чужого не едим». Молодец комсорг!)

Ах, как это меня надоумило не клюнуть на удочку Фокеева!

Хмурый сидит на койке Фокеев. Чует, поди, недоброе. Только не знает, не предполагает даже, кто ему путь преградит у стола: Кустерский, Жилин, Миша Алексенко? Или опять Сахненко?

Фокеев взгляд уставил в пол. Фокеев у нас самый сильный — и высок, и в плечах широк. Перед ним, может, никто не встанет. Но бог его знает. Теперь ему трудней чувствовать себя хозяйчиком в группе. Раньше ему никто не смел сдачи дать, а на прошлой неделе, когда его поймали с двумя краденными штангенциркулями два малоростка — Томилка и Никитин, они его чуть не заклевали. Не возвращал Фокеев штангенциркули да еще при этом дал пинка Томилке. Тогда ребята с двух сторон его, как петухи: и ногами, и кулаками. Отобрали свой инструмент.

Любушкин увидел эту драчку (она прямо в цехе была), подскочил немедля: «Что случилось?» — «А ничего, — сказал распаленный Томилка, — мы играем». — «Не место тут для игры, кончай», — поверил Филипп Петрович.

Вот и призадумался Фокеев. А вдруг те же малоростки, сговорившись, хай поднимут, скажут, что и ему не стоит зарплату выдавать? Да и поддержат их еще... Эх, не та стала группа...

Нет, остальные получали денежку тихо-мирно, чинчинарем. Без происшествий. Но кто ее незаконно получал, отходил от стола с таким чувством, вроде бы ему подачку дали, хотя добродушный Любушкин и повторял время от времени: «Все ребята работали хорошо, все заслужили, мы и в следующем месяце покажем первой группе кузькину мать».

Последним расписался в ведомости Толик Черкашин, после чего Филипп Петрович встал со скрипучего стула и торжественно вывернул карманы брюк:

— Все, ребята, до копейки раздал.

И закурил по новой.

8

Гром грянул нежданно-негаданно. Перед Новым годом, тридцатого декабря, мы узнали ужасную весть: накануне вечером арестовали Фокеева и Малашникова. Попались якобы при ограблении ларька возле стадиона.

Воспитатель нам первый об этом сообщил, Борис Иванович. Он явился на подъем к нам в спальню без привычной улыбки, без подначек в адрес завязтых сонь. Только одно слово сказал — опустошенно, разочарованно:

— Докатились...

Мы не знали, что случилось. Но, увидев пустующие койки Фокеева и Малашникова, поняли: что-то случилось страшное. Минут пять молчал Борис Иванович, и когда мы оделись и обступили его, он все и рассказал.

— Что теперь им будет?

— Что? Судить будут. Я ведь сто раз предупреждал Фокеева: одумайся, сколько веревочке ни виться... Деду его писал, чтобы приехал, образумил внука. Дед не ответил... Про Малашникова молчу: тот бесхребетный, куда ни помянут, туда и пойдет: пожар ли тушить, дерьмо ли месить — все равно. Да...

Подошел к Борису Ивановичу Жилин:

— Что ж мы Любушкину скажем? Уйдет ведь от нас...

— Не знаю, Жилин, что скажете... Ладно, выводите ребят на зарядку.

На зарядке не махалось, не приседалось, не бегалось. Жилин и впрямь гвоздь забил: как быть с Любушкиным? Уйдет Филипп Петрович, наверняка теперь уйдет! Скажет: нет, ребята, не хочу с вами нервы портить, я, скажет, думал, что вы только безобидные шалунишки, а вам, верно многие говорили, и впрямь тюрьмы не миновать.

Уйдет Любушкин — и лучшего мастера нам ни за что уже не найти.

После завтрака все собрались в спальне: что делать? Никто не садился, по обыкновению, на койки, все стояли, чего-то ждали (воспитателя с нами не было).

Я первым нарушил молчание:

— Надо всем идти в милицию, просить, чтобы выпустили. Поручимся: больше этого не повторится.

Федя Кустерский грустно усмехнулся:

— Так твоему поручению и поверили!.. А потом: ты удержишь после этого Фокеева, справишься с ним? Дульки! Плевал он на твое поручение.

Конопатый Сашка Никитин вышел на середину спальни.

— Пацаны, — сказал он, — давайте, если Любушкин нас бросит, откажемся учиться. И министру напишем... Как, Вась, а?..

Он искал поддержки у комсорга. А того, вдруг все заметили, не оказалось на месте.

— Где он?

— Не знаю, — растерянно развел руки староста. — Айда, пацаны, на практику, чего ждать?

И мы стали нехотя натягивать бушлаты.

Невесело плелись мы в мастерские. У каждого — одно и то же в мыслях: как будем глядеть в глаза Фи-

липпу Петровичу? Какой же черной неблагодарностью ответили мы ему! Как подвели! Он-то уж на педсовете нас расхвалил, а мы...

Брели мы и не знали, что комсорг наш Василь Сахненко вместе с Борисом Ивановичем были уже в мастерских и посвящали Любушкина в невеселую историю с двумя его учениками. Филипп Петрович слушал стоя, нервно курил.

И вот рассказ окончен. Минутная пауза. Любушкин раздавил окурок кирзовым сапогом.

Василь приготовил трогательную речь: «Не уходите, Филипп Петрович, от нас, мы без вас погибнем».

Но заговорил первым Любушкин:

— Пакостно все это и мерзко... У нас на фронте, в части нашей, тоже двое были. Те, правда, не крали, те разговоры всякие вели: воевать-де нечем, окружение-де скоро... В сорок втором это было... В трудное время... А как избавились соответствующим образом от этих говорунов — и воевать легче стало. Ей-богу. Вроде б накипь с души удалили. Вот и у вас, Сахненко, так. Жалко их, чертей, а слезы не капают...

— Может, и отпустят еще, если на малую сумму... — примирительно сказал Борис Иванович. — Может, до суда дело не дойдет.

— Все равно мерзко! — топнул сердито ногой Любушкин. — Накипь они, накипь! Остальных доучу, за остальных я спокоен... А этих... не возьму... Так и скажу директору: или я, или эти двое.

У Василя отлегло от сердца: с нами остается Любушкин! С нами!

9

Прошел месяц.

Дела у нас шли все лучше и лучше. Тринадцатая группа после случившегося как бы хотела доказать всем

на свете, что она не совсем пропащая. А что двое под следствием... Больно, обидно, конечно. Но ведь это исключение. Остальные-то ребята неплохие. Иначе бы отказался от нас Любушкин. В два счета отказался бы. Тем более, что он и в заработке намного потерял, связавшись с нами.

Но, видно, мы чего-то теперь стоили. И впрямь: самые сложные детали для сверлильных станков изготовляет кто? Тринадцатая группа. Где почти сведены на нет прогулы? В тринадцатой группе. В струнном оркестре откуда больше всех ребят? Из тринадцатой группы. Книги в библиотеке кто больше всех берет? Тринадцатая группа.

Про нас даже «молнии» стали выпускать. А то, бывало, только одни «колючки» вешали.

Мы, ранее чуравшиеся всякой похвалы, воспринимавшие ее как попытку взрослых подлизаться к нам, заглянуть в тайну наших душ, чтобы затем обезоружить и полностью подчинить нас себе, вдруг поняли вкус славы. Любушкин да и, глядя на него, Борис Иванович, воспитатель наш, незаметно подогревали в нас дух соперничества с другими группами. На практических занятиях Филипп Петрович при хорошем настроении подуживал: «Я пообещал на педсовете, что всех вас выпущу с четвертыми и пятыми разрядами. Авдеенко говорит, что у него двое точно получают третий разряд. Как, сдержим обещание, утрем нос первой группе?» — «Утрем!» — раздалось хором.

И мы старались... Раз верят в нас, поручаются за нас, как тут не стараться! Это когда ругали тринадцатую группу, когда сулили ей незавидное будущее, не было желания стараться. А коль верят — в доску расшибешься, но норму выполнишь.

А в общежитии Борис Иванович нас обхаживал. Придет в спальню и начнет: «Вы знаете, кто такой Макаренко?» — «Нет». — «А вы читали его книгу «Педаго-

гическая поэма?» Ты вот, Карасик, читал?» — указывает на меня пальцем. «Нет». И опять ко всем: «А вы знаете, про что она?» — «Не знаем». — «Про таких, как вы, сирот...»

Не успел договорить Борис Иванович, а Толик Черкашин уже полетел в библиотеку. И тут же очередь: «Я второй читаю». — «Я — третий...»

Пока все не перечитают, книга из группы не уйдет.

А чтоб другим скучно не было, назавтра Борис Иванович начинает по новой: «А вы любите про войну?» — «Любим». — «Про гражданскую?» — «Очень». — «А читали «Сердце Бонивура?»» — «Нет». — «Я читал, — с опозданием говорю я. — Вó роман! Дмитрий Нагишкин написал».

Еще одна книга пошла по рукам. Читать стали почти все, даже те заразились чтением, кто книги отродясь боялся. Читали некоторые запоем, после отбоя; когда свет в спальне комендант выключал, читали где-нибудь на ступеньках между первым и вторым этажом или в комендантской (если Таран дежурил). Я не помню в своей жизни другой поры, кроме той, ремесленной, когда бы я читал больше и заядлее.

Ну и струнный кружок мы не бросали. Руководитель кружка Суханевич пуще других уважал нас. На смотр ли куда, в колхоз ли с концертом — мы безотказные. Ребята из остальных групп на выходной по домам разъезжались, а мы всегда на месте. Стоит лишь Суханевичу кликнуть клич — все тут как тут. Балалайки, мандолины, домбры, гитары в руки — и поехали. Борис Иванович тоже с нами. Нахваливает в автобусе: «Что училище делало бы без вас?» Может, завирал он, но была тут и частица правды. Сами видели, что, кроме нас, играть некому. И еще выше от гордости носы задирали (как много все-таки значит своевременная похвала!).

Эти занятия — чтение и струнный кружок, да еще игра в футбол по теплой поре — отобрали у нас время

для бесцельного шатания в свободные часы по училищу и по городу, для всяких проделок, мелкого хулиганничания. Плюс наши успехи на производстве — вот и получалось, что тринадцатая группа — передовая. И нам — переходящее знамя!

(Ах, если бы не эти двое, попавшие в колонию!)

Кажется: как просто все получилось! Как легко повернули нас на сто восемьдесят градусов! Как мало потребовалось от Любушкина! Немножко отеческой теплоты в общении. Немножко доверия. Немножко смелости быть с нами таким, каков есть. Немножко желания и умения подметить в нас хорошее, а про плохое промолчать. Немножко... Что еще потребовалось от Филиппа Петровича, знает одно его сердце.

Любушкина мы не подвели. Государственная комиссия присвоила восьмерым нашим товарищам высший выпускной — пятый разряд (а в группе Авдеенко — шестерым), остальные получили четвертый разряд (у Авдеенко двое — третий).

И все... Отучились...

На второй день после экзаменов Филипп Петрович пришел с нами прощаться. Собрал всю группу в спальне, попросил всех присесть на койки, а сам встал возле стола. Долго мял в руках зеленый картуз, не находя нужных для прощания слов. Потом нашел-таки:

— Вот что, ребята, едри его кочерыжку, двое белых, а третий как снег, пришла нам пора расставаться. Не поминайте меня лихом. Может, кого из вас обидел сгоряча, может, отругал зазря, простите. Не со зла я это делал, а только вам на пользу...

Он часто заморгал, от волнения еле сдерживая слезы, затем вытащил из кармана пиджака свой цвета меди портсигар, раскрыл его и положил на середину стола.

— Угощайтесь, ребята...

А вскоре мы разъехались. Одни — в Донбасс (и я в том числе), другие — в Омск, третьи — в Саратов, четвертые — в Харьков...

Я долго переписывался со многими ребятами. От них же знал: работали они на заводах исправно, служили в армии добросовестно. А потом, после армии, стали жениться, обзаводиться детьми. Костя Ковалев себе даже дом отгрохал — современный, со всеми удобствами. Не верилось даже: легкомысленный, ленивый Костя — и собственный дом, сработанный его собственными руками.

Кстати, в места не столь отдаленные никто из нас не угодил. Жизнь у ребят получилась естественной и непустой.

...Только о колонистах ничего не слышно.

10

И вот мы через восемнадцать лет едем к Любушкину. Мелькают за окном огненно-желтые осины, за обступившими шоссе деревенскими домами видны поля, отвечающие зелеными всходами. Навстречу мчат машины. Все больше грузовые: со свеклой, капустой, а то и с телятами. Осень — горячая пора для села.

Василь Сахненко, обладающий певучим голосом, неожиданно предлагает, как когда-то он предлагал всей группе, улегшейся после отбоя под теплые одеяла, но не желавшей спать:

— А что, пацаны, давайте споем?

И запекает любимую нашу песню из довоенного кинофильма:

Вот умру я, умру я,
Похоронят меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.

«Пацаны» дружно поддерживают своего бывшего комсорга:

И никто не узнает,
И никто не придет,
Только раннею весною
Соловей запоет.

Я незаметно вытираю слезу. И вижу, как это же делают Томилка, Николай Медведев. И они, поди, вспомнили далеко не безоблачное время нашего отрочества.

На душе чуть-чуть тревожно. Ах, милый Филипп Петрович, если б вы знали, как ждут сейчас минуту встречи с вами девять ваших воспитанников!

Как жаждут они сказать вам спасибо!..

А автобус так ползет медленно...



***Вечерняя
школа***

1

Если бы мне сейчас давали миллион за то, чтобы я повторил учебу в вечерней школе, я бы от миллиона отказался.

Если бы я в тот злополучный августовский день пятьдесят шестого года, когда принес документы в школу, знал, что меня ожидает впереди, я бы сжег свои документы, на худой конец, спрятал бы их в глухом уголке чемодана, а школу обходил бы десятой дорогой.

Если бы врачи умели менять человеческий характер, я первым бы согласился на самую опасную операцию, дабы избавиться от своего — настырного. Это он, он виноват во всем! Он подверг меня испытаниям вечерней школой на разрыв и на растяжение. У-у, поганец!

Как было дело?

Окончил я ремесленное училище, получив семилетнее образование и профессию токаря-универсала. Все шло в жизни нормально, как у нормальных людей, теперь предстояло, как говорится, изо всех сил работать на благо общества, сторицей воздавать за ту заботу, которую оно четыре года проявляло о нашем брате ремесленнике.

Так нет, заегозил: пойду в школу, негде-де отставать от своих сверстников из курской деревни Хорошаевки — от Вовки Комарова, от Витьки Вялых, от Ивана

Губольцева, от того же двоенника Кольки Зубкова! Они в десятый класс уже этой осенью пойдут, а мне, что ли, с семилеткой своей загорать? Да ведь меня все деревенские засмеют, когда приеду в отпуск! Э-э, скажут, а Вовка уже в институт готовится, а у тебя только семь классов. Обскакал, скажут, он тебя, обскакал.

И ничего им не возразишь.

А чем я хуже того же Вовки? В начальной школе мы с ним грамоты по очереди получали, вместе стишки пописывали. Да и об институте я, может, не меньше его мечтаю. Может, даже и определил уже, в какой поступлю.

Все, решено: как только на завод приезжаю, сразу подаю документы. Трудно, говорят? Ничего, выдюжу, я настырный.

Ну, приехал на завод.

2

Главного инженера звали Наумом Борисовичем Сигаловым. Был этот Наум Борисович высокого роста, плотный, малость сутуловатый и, судя по медлительным движениям, — не злой. Он два-три раза прошелся вдоль своего просторного кабинета, заложив руки за спину, внимательно изучая косым взглядом каждого из двенадцати ремесленников, тихо сидевших сейчас перед ним. В свою очередь каждый из нас легонько ухмылялся, глядя на большущий мясистый нос Наума Борисовича и огромные — может, сорок шестого или сорок седьмого размера — его туфли (на заводе, после мы узнали, ходила такая шутка про главного: «Сперва в дверях появляются нос и галоши, потом — сам Наум Борисович»).

Так вот, сидели мы, значит, в кабинете главного: шестеро выпускников Белгородского ремесленного училища, шестеро — Шебекинского. Тут же находился и начальник отдела кадров Семикопенко — сухой, невзрач-

ный мужичок, беспрестанно куривший, а посему дышавший шумно, как худая гармошка. Семикопенко лично отбирал нас на местах, лично следил за нами в поезде, дабы случайно не разбежались («Вы такие хлопцы, — говорил он, перемежая русские слова с украинскими и без конца пересчитывая нас, — отчаянные, як муравьи расповстись можете»).

Лично занимался Семикопенко и нашим устройством на завод.

Вот наконец Наум Борисович уселся на свое место, локтями уперся в стекло, покрывавшее его широкий начальственный стол, переплел пальцы рук. Бросил взгляд на Семикопенко, тот кивнул, что означало: пора начинать. При этом начальник отдела кадров выдохнул в лицо главному инженеру густую синюю тучу папиросного дыма, и Наум Борисович поморщился.

— Значит, так, — начал Сигалов, голос у него был глуховатый, не для такого здоровья. — Значит, так: вы прибыли на Ново-Горловский машзавод. Мы вас давно ждали — вот товарищ Семикопенко не даст соврать — и надеемся, что вам у нас понравится. Работать вы все пойдете в механический цех. Работа у нас для токарей интересная, разная, то, что и нужно для вас, универсалов. — Семикопенко подтверждающе кивал головой. — Завод наш небольшой — тыща с лишним человек. Но продукция у нас важная: мы выпускаем буровые установки. Таких заводов всего два в Союзе: у нас, в Донбассе, и в Сибири...

Минут двадцать Наум Борисович рассказывал обо всем, обо всем, обо всем: о продукции, о станках, о порядках на заводе, всю его историю поведал, ну и о будущем не преминул помечтать. Мы все так же тихо сидели вдоль двух стен кабинета и с откровенным интересом слушали.

Закончил он с твердой верой в то, что на заводе мы останемся навсегда, а не только отработаем положенные

два года. Попутно поинтересовался, всем ли нам исполнилось по восемнадцать лет. Семеро из двенадцати подняли руки.

Наум Борисович метнул взгляд на Семикопенко: зачем, мол, почти половину несовершеннолетних привез?

Семикопенко понял главного, успокоил его:

— Остальным, Наум Борисович, через месяц-два исполнится...

— Верно? — спросил Сигалов.

Еще четверо подняли руки.

— Ну вот, — обрадовался Семикопенко, — я же казав! Я их с расчетом выбирав... А ты чего не поднимаешь?

Я вспыхнул, смущенный таким вниманием. Проямля ей слышно:

— Мне только через месяц... семнадцать...

— Не може быть! — вскочил со стула Семикопенко и принялся листать стопку наших личных дел, лежавших на столе у главного инженера. — Як твоя фамилия?

Я сказал. Семикопенко быстро нашел искомое. Стоя читал мое личное дело, не веря глазам своим.

— Не може быть...

И плюхнулся на стул, уронив на колени папиросный пепел.

Семикопенко был обескуражен, а я струхнул: вдруг отправят назад? Ведь нашу тринадцатую группу всю распределили, и меня сейчас училищное начальство сунет в какую-нибудь дыру одного. А это не очень весело — оказаться неизвестно где без друзей и знакомых.

Сердце мое часто постукивало.

— Обманул, выходит? — накинулся на меня Семикопенко.

— Н-нет, — заикаясь, начал оправдываться я. — Вы тогда, в училище, спросили: «В каком месяце родился?» Я сказал: «В августе». Вы сказали: «Подходит», — и записали мою фамилию... Я не обманывал.

— Почти правду я говорил. Да, в училище мы все знали, что представитель из Ново-Горловки отбирает только восемнадцатилетних, и я даже немного недоумевал, когда он меня записал в свой блокнот. Я даже не поверил и переспросил: «Точно берете?» — «Точно». Должно, рассудил я, ему оценки мои понравились. А оказалось, он не уточнил мой год рождения.

— Гех, — раздосадованно стукнул рукой по столу Семикопенко, поняв свою оплошку. Теперь вот, наверное размышлял он, возись с малолеткой: рабочий день для них укороченный, в третью, ночную, смену запрещено их пускать. Маета одна! Опять начальник механического ворчать будет.

Чесал затылок Семикопенко, но отправлять меня обратно, видимо, не собирался. Видимо, такого закона не было, и он виновато опустил на грудь голову:

— Нэ доглядел...

Не совсем удобным для завода оказался я, что и говорить. И вся радость встречи с главным инженером как-то погасла: не один я переживал недоразумение. Наум Борисович заметил это и отрешенно махнул на Семикопенко рукой:

— Ладно. Стерпим... Вопросы ко мне, ребята, есть какие?

— Все ясно, — выдохнул Федя Кустерский, староста нашей бывшей тринадцатой группы.

Но староста белгородцев, Сахаров, спросил насчет заработков токарей.

Наум Борисович подробно отвечал, а я не вникал в содержание его слов. Я ловил момент, когда главный инженер закончит про заработки, чтобы тоже задать вопрос, мучивший меня все время, пока мы сидели у главного инженера. И я выскочил со своим вопросом, как только Наум Борисович сомкнул губы:

— А вечерняя школа далеко от общежития?

Наум Борисович кивнул Семикопенко: ответьте, мол,

это по вашей части. Так я понял, потому что именно начальник отдела кадров ответил:

— Блызько... — И, насупившись, спросил: — Ты ще и вчиться думаешь?.. Гех, як це я проморгав?

3

В нашем цехе три смены: смена Шведченко, смена Никулина и смена Окары.

В самый первый раз, в первый свой рабочий день, я попал к Шведченко. Статный, красивый дядька, он встретил нас, новичков, с улыбкой:

— Пополнение? Это хорошо. Пятеро вас? — Шведченко потер в раздумье нос толстым указательным пальцем, укороченным на полногтя. — Как вас лучше расставить?.. Ладно, счас что-нибудь придумаем. — Он поманил тем же усеченным пальцем проходившего мимо комнатки мастеров нормировщика. — Яша, вот этого, — направил на меня Шведченко палец, — на шестнадцатый отведи. Дай ему работу...

Я пошел за нормировщиком. Вскоре он остановился возле маленького станка неизвестной мне марки. На нем, видимо, давно никто не работал: на передней бабке лежала, может, еще прошлогодняя пыль.

— Вот сюда становись, — указал мне без лишней волокиты нормировщик. — Включай, проверяй, я тебе сейчас чертеж принесу.

У меня опустились руки при виде этой колымаги. Я-то думал, что самые старые станки собраны в наших училищных мастерских, а таковые, оказывается, и на заводах еще есть. Этому зверю нерусской марки, за который меня поставили, наверное, вдвое больше лет, чем мне. Чего же тогда Семикопенко уверял, что весь станочный парк на заводе хороший? Боялся, чтобы мы не поразбегались, если бы узнали, на каком старье нам придется работать? Пожалуй, что так.

Впрочем, брюзжанием делу не поможешь. Наивно было бы полагать, что нас сразу на ДИПы поставят. Нам еще Любушкин, мастер училища, это предсказывал. Говорил он, что место на хорошем станке завоевать надо. А посему, решил я, надо брать ветошь, солярку и приводить станок, какой бы он ни был, в порядок. И доказать нужно тому же Шведченко, что мне пятый разряд дали не за красивые глазки, что я достоин работать на лучшем станке.

Чертеж нормировщик принес минут через десять. Задание плевое — болт М10 с круглой головкой. Любушкин такое задание давал самым слабенкиим.

— Тебе даже повезло, — сказал мне Иван Жуков, тоже токарь, год назад наше училище окончил. — Я на этих болтах, бывало, по пятьдесят-шестьдесят рублей в смену калымил. Только полные обороты включай, и чтоб за один проход...

С горем пополам настроился на болты. Станок давал оборотов пятьсот — не больше. За один проход стружку не удавалось снимать: не тянул мой зверь. Да и верхний суппорт подрывало: салазки порядком изношены были. Но семьдесят два болта к концу смены я все-таки сделал и заработал одиннадцать рублей пятьдесят две копейки — на обед и ужин хватит. Для начала неплохо, учитывая, что точить болты я начал лишь перед перерывом. Да и старался я — по неопытности — чересчур: длину болта, диаметр головки делал с точностью до десятки, напильником чистоту наводил — как на выставку те болты готовил. Пока не подошел Жуков и не сказал: «Чудак, с твоими темпами ты далеко не уедешь. По лимбу подавай, а длину штангенциркулем на ходу отмеряй. Вот так», — и показал, как это делается. «Это же не по технике безопасности», — прогивился я. «Фу, простофиля, — улыбнулся Жуков, — тут тебе не училище, тут будешь правила соблюдать — без штанов останешься».

«Послушался я Жукова — и дело пошло быстрее!»

Две недели я работал у Шведченко. А когда его смене предстояло идти в ночь, он меня не пустил к себе. «Ты малолетка, — сказал он, — тебе законом не положено ночью работать. Завком наш за этим делом строго следит».

И пошел я со следующей недели в смену Никулина.

Никулин был помоложе Шведченко — лет так сорока. Коренастый, с крупным красным лицом, он внешне казался суровым и строгим. А на деле он был не очень принципиальным, многие рабочие с ним пререкались — особенно некоторые старички. Чуть задание не по душе, они давай горлом доказывать, что мастер их обижает. Иногда с матючком доказывали, страшая уходом в другую смену.

Никулин горлодерам шел навстречу, а всю менее выгодную работу взваливал на молодежь. «У вас, ребята, — говорил он, — семей нет, вам деньги пока не нужны».

Я сделал попытку упробить Никулина работать с ним в третью смену. Привык-де к народу, даже хорошо у вас. Но и Никулин оказался несговорчивым: «Постановление о малолетних вышло недавно, и мы нарушать его еще не научились».

Потом я попал к Окаре.

Почти все общежитские ребята, да и не только общежитские, работали в сменах Шведченко и Никулина. У Окары взрослый народ в основном был и почти все — его земляки, из пригородного села. В его смене в учениках ходили тридцати-сорокалетние мужики, вчерашние трактористы или прицепщики, но это Окару не смущало: когда они выучивались, то работали исправно, добросовестно, послушными были — не то, что эти вчерашние ремесленники. Никто в смене Окары не баловался, не бегал между станками, не торчал не у своего станка, лясы, наконец, не точил. Производству это было

выгодно, а молодежь правдами и неправдами уходила от хмурого и сурового мастера. Да он пацанов и не удерживал здорово: беспокойный они народ.

Мне Окара подсунул точить шпильки, от которых даже все его послушные земляки отказывались: точность высокая, возни с ними много, а стоят — шиш. У меня эти самые шпильки сборщики еще горяченькими брали — во каком дефицитом они были.

Приловчился я к шпилькам, сделал их много, а заработал мало.

Скучно было в смене у Окары, и, пробыв у него всего неделю, я опять попал к Шведченко.

Не очень мне нравилось мотаться из смены в смену: везде меня считали чужим (впрочем, не только меня — нас в механическом цехе человек пять таких было). Но что делать? И успокаивал себя: поживем — увидим.

К тому же не столь занимала меня свистопляска со сменами, как предстоящая учеба в вечерней школе. Я ждал первого сентября с благоговением, как самого великого праздника.

И дождался.

4

Я нес в правой руке самое сокровенное свое богатство — новый, светло-коричневого цвета портфель. Я никогда еще за свои семнадцать лет не имел портфеля — этот первый. До поступления в ремесленное училище — когда жил в деревне — я носил учебники в холщовой сумке через плечо. В училище портфелей выдавать не полагалось, а покупать — на какие шиши? Теперь — другое дело. Теперь я уже человек самостоятельный, два раза уже зарплату получал, на портфель разориться мне было ни чуточки не жалко. Наоборот, я испытывал необыкновенную радость в магазине, а принесся портфель в общежитие, заперся в комнате на ключ и с любо-

пытством рассматривал покупку, обнюхивал ее, без конца открывал и закрывал, подолгу стоял перед зеркалом, игриво размахивая портфелем и счастливо улыбаясь самому себе.

И вот я теперь гордо нес портфель по нашей небольшой Литейной улочке, буквой «С» прилегающей с трёх сторон к акациевому скверу. В портфеле лежали только две тетрадки — моя и Коли Гадецкого, коренастого крепыша, метр пятьдесят один росточком. Мы с ним прибыли на завод вместе, он из Белгородского училища: Подружились мы быстро. С той минуты, видимо, когда вышли из кабинета главного инженера. Коля тогда поймал меня за рукав гимнастерки и негромко сказал:

— Слушай, и я хочу в вечернюю... Давай вместе?

— Давай.

Через день мы разыскали школу и отнесли заявления с просьбой зачислить в восьмой класс. А после первой полочки — опять же вместе — ходили в магазин за учебниками. Вот только портфель Коля Гадецкий, мой новый дружок, мечтавший стать ихтиологом, не захотел иметь. «Не люблю», — сказал. А почему не любит — то ли раньше ему портфель надоел, то ли не привык, — я допытываться не стал.

Сегодня, в день первого занятия, можно было бы идти без портфеля — две тетрадки там всего! — но я не мог лишиться себя огромного удовольствия — пройтись с портфелем по Литейной. «Смотрите, люди, — кричали мои глаза, — какой у меня замечательный портфель! У вас нет такого! Да, у вас нет такого! У вас есть старые, уже потершиеся и даже с отскочившими металлическими уголками; у вас есть новые, но не такого цвета, с меньшим числом отделений и карманчиков, не с таким удобным замком, не той, наконец, фабрики. Завидуйте, люди, мне, знакомые и незнакомые!»

— Ты чего головой вертишь? — ткнул меня пальцем в бок Коля.

Я действительно шел, заглядывая в глаза каждому встречному, стараясь обратить на себя внимание.

— Воротничок давит... надо пуговицу перешить.

Показалась школа. Двухэтажная, побеленная к первому сентября. У входа народ толпился. Вечерники. Группками стояли — это те, должно, что уже знакомы по прошлому учебному году. Курили, громко здоровались.

Нас с Колей никто, понятно, ни громко, ни тихо не приветствовал. Мы даже не остановились возле входа, а, не сбавляя шага, прошествовали в свой класс, хоть до звонка еще оставалось не менее четверти часа.

Восьмых классов больше всего — три (правда, забегая вперед, скажу, что после первого полугодия их останется два — по тридцать человек, а к концу года будет в нашем 8 «а» двадцать, в «б» — восемнадцать). Но это когда-то еще случится. А теперь — тесно. Пришлось две дополнительные парты вносить: не хватало мест. Сорок один ученик — шутка ли!

Мы с Колей заняли парту возле окна. Хоть в то окно ничего, кроме веток огромного тополя, и не видно, но все-таки лучше тут, чем, скажем, в среднем ряду, — есть куда поглазеть, если, случаем, скучно вдруг станет.

Уселись кое-как, стали ждать учителя. Расписания на сегодня не было, должно быть, только познакомиться с нами решила дирекция школы. Да убедиться: впрямь ли все записавшиеся жаждут продолжать грызть гранит науки?

Но вот дверь класса отворилась, и в ее проеме показалась старушечья голова.

— Это восьмой «б»?

— «А», — ответили мы хором.

— Значит, я не ошиблась. — И старушка, глядя поверх очков на сидящих перед ней учеников, прошла к своему столу. У нее, казалось, были неподвижные

зрачки; для того чтобы перевести взгляд, она поворачивала голову. Положила журнал на стол, подошла к доске, взяла мел и сказала: — Мне шестьдесят два года, мне пора давно сидеть на пенсии, но, если я это сделаю, я завтра умру... Я буду вести математику... у нас все в семье математики, брат мой в Москве профессор... Зовут меня Надежда Николаевна Никольская. Запомните. — И она написала на доске: «Надежда Николаевна». Затем положила мел на подставочку доски и выбеленные пальцы вытерла... о свою новую черную юбку.

По классу прокатился хохоток: любопытная старушка, с чудинкой.

— Теперь я с вами познакомлюсь, — сказала Надежда Николаевна и взяла классный журнал. Держа его на весу, она назвала первую фамилию:

— Агапов.

Еле высвободив ноги из-под парты, встал высокий тощий парень, явно застенявшись своей нескладности. Надежда Николаевна сделала движение головой сверху вниз, измерив взглядом Агапова.

— Садитесь. Бородаев. Садитесь. Грачев... старый знакомый... Где вы, Грачев?

— Тут, — поднял руку из самого дальнего угла черноволосый парень.

— Вставать нужно, Грачев. Вы и в восьмом классе будете через день ходить? — строго поглядела на Грачева Надежда Николаевна.

— Не буду.

— Смотрите у меня. Гадецкий.

— Я, — вскочил Коля.

— Вы почему, Гадецкий, не по алфавиту записаны? Вы должны впереди Грачева стоять.

Коля смутился, прохрипев что-то похожее на «не знаю».

— Ладно, выясним потом. Вы к нам, Гадецкий, из дневной школы?

— Нет.

— А сколько ж вам лет?

— Восемнадцать.

— А почему же такой маленький?

Класс загоготал, окончательно смущенный Коля сел, закрыл лицо руками и отвернулся к окну. Надежда Николаевна, однако, не поняла, из-за чего возник шум, вопросительно вздернула плечи и, как ни в чем не бывало, продолжала переключку:

— Колбасов.

— Я, — вежливо встал мужчина с первой парты в среднем ряду. Ему было лет тридцать, он, я заметил, постоянно улыбался. Надежда Николаевна так же вежливо кивнула ему:

— Садитесь... Колбасова...

Медленно поднялась девушка в красной кофте с милым лицом — соседка Колбасова. На него, а не на нее уставила поверх очков свой взгляд Надежда Николаевна:

— Это ваша жена?

— Да, это моя жена, — встал Колбасов.

— Она — что, учиться пришла?

— Учиться, — улыбнулся Колбасов.

— Так она ж у вас беременная, — бесцеремонно сказала Надежда Николаевна.

Взрыв хохота, Коля Гадецкий мгновенно забыл свое смущение, смеялся громче всех.

Колбасов положил руку на плечо жены, усадив ее, а сам повернулся к классу и развел руками:

— Ну штё тут смешного, не понимаю?.. Штё смешного?

В общем, веселая получилась переключка.

После звонка Надежда Николаевна сообщила нам расписание на завтра: алгебра, русский язык, русская литература, география — и с тем отпустила по домам.

Сентябрь в Донбассе — это еще лето. Тем более в начале месяца. Вечером на город наплывает духота — асфальт, каменные дома, крыши шиферные и железные, накалившись за день, долго — до полуночи — не дают остыть воздуху, подогревают его, будто огромные печи. А тут еще с терриконов пахнёт горячей угарной волной тлеющего угля.

Благс у нас перед самым общежитием — скверик, где малость свежее, прохладнее. А потому вся Литейная улица — особенно молодежь — вечером тут, в скверике.

Посередине сквера — пятачок. Почти каждый вечер на пятачке бывали танцы. Бесплатные, под радиолу, а поэтому танцевали здесь все, кому не лень, танцевали, как хотели и сколько хотели. Заводской связист Жора, который отвечал за радиолу, никогда домой не торопился, ну а ежели, бывало, он уходил в беседку к доминошникам и там у него получалась игра, радиола крутилась и до двенадцати, и до часу ночи.

— Когда мы с Колей Гадецким возвращались из школы, танцы были в самом разгаре.

— Пойдем? — кивнул я Коле на аллею, ведущую к пятачку.

— Не, я письмо тетке должен написать. Да, и... какие мы с тобой танцоры?

— Поглядим хоть.

— Нет...

— Тогда держи портфель, я один...

Хрумкал под ногами крупный песок, покрывавший аллею, я не шел, а прыгал с ноги на ногу от ощущения прекрасного теплого вечера, от того, что все у меня в жизни получалось, что наконец-то мне посчастливилось заниматься в настоящей школе, которая, конечно же, не чета деревенской школе-хатенке, а в училище

хотя и были все условия, но обучение получилось сумбурным.

А еще... А еще я уже точно не отстану от своих деревенских сверстников: Вовки Комарова, Витьки Вялых, Ивана Тубольцева и Кольки Зубкова. Пусть они в десятом сейчас, зато у меня уже есть профессия, зато я уже сам зарабатываю себе на хлеб. Портфель вон, книги не за родительские деньги купил — за свои. И десятилетку закончу — это уж как пить дать.

Хорошо жить на свете, черт возьми, все-то у меня впереди! Да и радиола вон поет:

Я пока что живу в общежитии,
Увлекаюсь своею мечтой.
Никакого не сделал открытия,
Но оно, несомненно, за мной!

Подошел к пятаку, встал в сторонке, наблюдая за танцующими. Сам я танцевать не умел, нас этому делу в ремесленном не учили. Да и не сильно охочие мы были до танцев. Вот кот на парашюте из газеты с крыши трехэтажного здания училища спустить — это куда забавнее. А танцы... Нашу тринадцатую группу танцы не интересовали.

Стоял я, смотрел на танцующих и вдруг услышал: сзади кто-то подошел. Потом — толк меня в бок пальцем. Я обернулся: девица, круглолицая, плотная. Смеется:

— Я проверяю: нервный ли ты?

Что сказать ей — не знал. Растерялся. Я не умел еще держаться с незнакомыми девчатами. Тем более разговаривать: боялся сморозить какую-нибудь глупость.

— Чего не танцуешь? — наступала она.

— Не уме... Не хочу...

— Пойдем научу.

— Нога болит.

— Не трепись. Из школы, как козел, скакал. Я ведь следом за тобой шла.

«Что делать? — заметался я. — Пойти учиться с ней танцевать — позорно. Я мнительный, мне кажется, пальцем каждый будет тыкать: смотрите-де, увалень какой, его девка водит. Но как отказаться?»

И тут я неожиданно увел разговор в сторону. Я спросил:

— А ты тоже в школу ходишь?

— Хожу.

— В какой класс?

— В девятый (вруша, скоро я узнаю, что она учится в шестом классе!). А ты в восьмой.

— Кто тебе сказал?

— Ха, мне все известно! Даже имя твое. И фамилия.

— Откуда?

— Кто любит, тот все разузнает, — подмигнула она мне. Я поразился ее смелости, я почувствовал себя перед ней слабачком, но вместе с тем вдруг ощутил потребность общения с ней, и я побоялся, что может оборваться ниточка разговора с нею и она уйдет.

Я сказал первое, что пришло в голову:

— И я знаю, как тебя зовут.

— Как?

— Галя.

— Нет.

— Валя.

— Точно, угадал. А фамилия?

— Иванова.

— Ха!

— Зайцева.

— Ни за что не отгадаешь. Пойдем на скамейку, я тебе скажу — тут народу много.

Скамейки, те, что поблизости от пятачка, были все заняты. Валя меня повела на дальнюю аллею — там оказались свободные места.

— Ты возьми меня под руку, — сказала она, — а то мы как незнакомые.

Взять под руку... А как надо правильно брать под руку? Кошмар! Я и этого не умел! Сердце колотилось, вот-вот выпрыгнет из груди.

Я схватил Валину ладонь.

— И так можно. Только не очень жми, это же не силомер. Кавалер мне нашелся...

Я ослабил пальцы. От волнения мелко дрожал. Даже в голосе дрожь проступала.

— Т-так как т-твоя фамилия?

Сели на удобную скамейку со спинкой.

— Отгадай.

— Петухова.

— Ха! Го-су-дар-ска-я. Понял?

— Шутишь? Таких фамилий не бывает.

— Фу, дурачок!..

А ниточка вот-вот оборвется.

— Ты где работаешь?

— В конструкторском.

— Кем?

— Копировальщицей (вруша, скоро я узнаю, что она нигде не работает, ей всего пятнадцать с половиной лет).

— Ого!

— Да... А у тебя девчата раньше были?

У меня? Девчата? Раньше? Чудачка! Если бы она спросила: ты раньше стекла бил? Ложки в столовой ломал? Кавуны с совхозной бахчи крал? Я бы, не моргнув глазом, ответил: да, да, да!

А о девчатах я только тут вот, на заводе, стал задумываться.

Хотя — стоп. У меня была девушка. Два года назад, будучи на каникулах в деревне, я встречался с Катей Хохловой: мне — пятнадцать, ей — четырнадцать. Она жила в Михеевке. Это километра три от нашей Хорошаевки. Свел меня с ней один парень хорошаевский — Лешка, по прозвищу Лопушок. Скучно, должно, ему

было одному ходить в Михеевку к своей Ниночке, вот он и свел меня.

Повстречался я неделю-другую с Катей и оставил это дело — любовь. Причина веская была: в Михеевку я шел еще в сумерках, вместе с Лопушком, а обратно — в полночь да один, а дорога — мимо густого ольшаника, где, по слухам, волки водились; бежишь, бывало, под собой ног не чуешь, вот-вот, думаешь, тебе навстречу выйдут зеленые волчьи глаза. Страшно!..

И надумал я прекратить свои хождения.

Однако — факт, что девушка у меня была. Я так и ответил Вале, только во множественном числе: были. В свою очередь спросил:

— А ты раньше с ребятами встречалась?

— Ха! Ты — четырнадцатый.

Я закурил: ничего себе! Но успокоил себя: я ей, может, больше других нравлюсь. И вообще она ничего, только больше смелая и смеется громко. Зато симпатичная — щечки круглые, с ямочками.

Эх, Коля!.. Сидит, сочиняет письмо тетке. А у меня тут — свидание! С Валей Государской!

Боже мой, свидание! Слово-то какое нежное...

Ниточка, того и гляди, оборвется.

О чем же еще разговаривать с Валей? А ну-ка я про родителей расспрошу...

6

Первая смена кончается на заводе в пять часов. Я несовершеннолетний, мне можно уходить раньше на целых два часа. Можно смело уходить, особенно тем, у кого мамка с папкой под боком. А у меня их вообще нет, потому я уходить не тороплюсь — никто, кроме самого себя, меня не прокормит. Вот и стараюсь побольше заработать.

Я сегодня минут на двадцать подзадержался в цехе:

работа была выгодная, и я не выключал станок до самого гудка. В общежитие бегом бежал. Влетел в бытовку, снял робу, схватил мыло, полотенце и к умывальнику. Раз намылил руки до локтей, другой: масло отмывается плохо. Деру его ногтями, опять смываю — красные полосы на руках от ногтей. А времени — в обрез.

Ну вот наконец вроде бы отмыл. Скорее одеваться.

В комнате нашей четверо: я, Сашка Макашин, Иван Мамай — наши, шебекинские, и Генка Сахаров — он из группы Коли Гадецкого. Сейчас Сахаров лежал в одежде на кровати, закинув ноги на спинку, и смотрел в потолок. Мамай подбивал подметки рабочих ботинок. Сашка Макашин разучивал на гармошке какую-то блатную песню про колокольчики-бубенчики.

Мне предстояло первым делом все-все выучить про Фонвизина и его комедию «Недоросль». Ну, если не все, то хотя бы частично. Не исключено, что Нелли Григорьевна сегодня меня спросит. За те полмесяца, что мы проучились, она почти всех уже спрашивала. Только я да еще человека два остались.

По-быстрому влез я в штаны, напялил рубаху, схватил с тумбочки учебник русской литературы и уселся за стол. Открыл нужную страницу.

«Так, — пробегаю глазами, — значит, Денис Иванович Фонвизин родился в 1744 или в 1745 году, в Москве, значит. В богатой дворянской семье... Учился в гимназии...»

— У, зараза, опять согнулся! — Это Мамай гвоздь ругает.

— Да перестань ты стучать! — кричу я на Мамай.

А он губы свои заячьей трубкой сделал:

— Я тебе мешаю, что ли?

— Конечно.

— Ну, сейчас, два гвоздя вот забью... Мешаю я ему...

Так, значит: «В обстановке реакции, наступившей

после подавления пугачевского восстания, Фонвизин создал самое значительное свое произведение...»

Колоко-о-льчики-бубе-н-чики звеня-ят,
О-они что-то про изме-ну говорят.
Люди же-енятся, и ка-ак они живу-ут,
Ко-олокольчики сейча-ас вам пропоют.

— Чтоб ты пропал со своими колокольчиками!

Сашка Макашин, однако, не расслышал моих слов.

— Что? — отнял он ухо от гармошки.

— То, — злюсь я. — Вот уйду в школу, хоть развешись с этими колокольчиками. Совести у тебя нету.

— Да я чего? — удивился Сашка. — Я могу и перестать. Я как раз в столовку собирался. Айда, Мамай?

— Сейчас, — снимая ботинок с ножки перевернутого стула, говорит Мамай. — Пойдем, а то у нас тут один барин завелся: и пикнуть не смей.

Ворчит Мамай не зло, просто ворчливым уродился.

Ребята уходят, уводят с собой и Сахарова. Я остаюсь один, в запасе еще час, еще, может, и в геометрию успею заглянуть.

Только я сосредоточился над Фонвизиным, слышу: в коридоре шумок. По голосу узнаю лучшего шлифовщика завода Степу Старикова. Опять, должно, его, подвыпившего, ребята тянут домой, а он упирается и убеждает, что ни капли не пьяный, что он только граммочку позволил себе, а потому спать ни за что не желает.

Зажал уши ладонями, чтобы не слышать Степу, читаю дальше.

Но тут постучали в дверь.

— Войдите! — не отрываясь от книги, крикнул я.

Вошла дежурная.

— Сахарова к телефону. Из цеха. Спрашивают, почему на работу не вышел.

— Не знаю. Возможно, заболел.

— Как же он заболел, если в столовку пошел?

— Не знаю!

— Ты чего кричишь — нервный, что ли?

— Отстаньте, мне уроки надо учить!

— Ну и учи, кто тебе мешает?

И, недовольно хмыкнув, дежурная удалилась.

С горем пополам одолел Фонвизина.

Теперь — геометрия. Так, что там у нас? Повторение: теорема Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Это легче. Вспомним, как доказывать это дело, — и, считай, с геометрией покончено.

Снова дверь открылась. Оборачиваюсь: Коля Гадецкий.

— Собирайся — уже пора.

Посмотрел я на настенные часы: да, без десяти семь. Сорок минут в запасе, а надо еще по пути в школу заскочить на ужин. В столовой, пока официантка обслужит, необходимо заглянуть в учебник истории.

Во жизнь пошла — и вздохнуть свободно некогда.

— Тебя спрашивали сегодня?

— Спрашивали.

— По чем?

— По литературе.

— И что схватил?

— Четверку.

— Про что тебя спрашивали?

— Про Фонвизина. А вы кого изучаете?

Валя Государская, с которой мы после занятий сидим в сквере на «нашей» скамеечке, не моргнув глазом, ответила:

— Пушкина.

— Пушкина мы проходим.

— Ну, Лермонтова.

— И Лермонтов у нас. Постой: ты в каком классе? — заподозрил я неладное.

— А, я не учила сегодня, — нашлась она. — Ты вот что послушай, — взяла меня за ухо Валя.

- Ну? — шутливо наклонился я.
- Меня одна девочка спрашивает...
- О чем?
- спрашивает: он тебя...
- Что — «он тебя»?
- спрашивает: он тебя... целует?

Рука моя, обнимавшая Валину талию, упала, как окоченевшая. Мне стало стыдно, я вспыхнул жаром, растерянно раскрыл рот, не зная, что ответить! Целоваться я не умел. Но что-то говорить надо? Надо.

- А к-кто спрашивает?
- Девчонка.
- Какая?
- Соседка моя.
- Как ее зовут?
- Люда.
- А фамилия?
- Карпоносова.
- Это не та, с которой ты в воскресенье из магазина шла?
- Та.
- Она же... — Я хотел сказать «красивая», но осекся.
- Что — «она же»?
- А ничего.

Нет, чего. Я эту девчонку однажды видел на танцах. Однажды. Потом она исчезла. Я подумал, что она или приезжая была, или случайно с подругами из города забрела на наш пяточок. Я в нее тогда втрескался по уши с первого взгляда. У нее были завитые волосы, милое личико с курносом носиком. И уж больно скромно она держалась с подругами! А улыбалась — так свети-лась вся. Не то что моя Валя Государская — эта гогочет чуть ли не на весь сквер..

И вот в последнее воскресенье я увидел Люду у выхода из универсама. Вместе с Валею она шла, держа

под мышкой какой-то сверток. Я вздрогнул от неожиданности, буркнул Вале короткое «здрасьте» и быстро пошел, почти побежал по тротуару, ни на кого больше не глядя и мысленно повторяя: «Она, она, она...»

Три дня я мучился: где и как ее еще встретить?

И вот Валя навела меня на след. Ах, молодец! Дай я тебя за это... поцелую.

Я обнял Валину шею, ринулся к ее губам. Она не сопротивлялась, ожидая моего поцелуя, которого не получилось. Я просто клацнул с разгона зубами о ее зубы...

— Фу, какой-то, — для формы оттолкнула мою голову Валя и царапнула мою руку (Валя любила царапаться, ей казалось это проявлением девчоночьей ласки).

— А почему Люда на танцах не бывала?

— Болела. А ты что — влюбился в нее?

— Возможно.

— А зачем же меня целуешь?

— Я не целу...

— А-а, обманщик! На тебе! — И она всеми пятью ногтями впиалась в мою правую руку.

Я ойкнул и обозвал ее дурочкой.

— Пошли домой, — скомандовал я и встал.

— Пошли. Только я — одна...

— И ладно.

Ей направо, мне налево, ей — сто метров до дома, мне — еще меньше.

Я шел медленно-медленно. «Значит, она здешняя, — размышлял. — И зовут ее Люда, и фамилия Карпоносова... Все, с Государской больше не дружу... Я люблю Люду...»

Ночь стояла тихая-тихая. Только попыхивал на заводских путях маневровый паровоз да на лавочке у общежития пиликал на гармошке Сашка Макашин.

Уходил еще один день...

Ленька Соломка оказался для нас с Колей Гадецким человеком полезным. Сошлись мы с ним неожиданно и быстро. Как-то во время перемены он не пошел курить, а подсел к нам.

— Ребя, вы на машзаводе работаете?

— Да.

— И живете там?

— В общежитии.

— Так мне из школы по пути с вами: я в четвертом доме. А работаю я слесарем в ОГМ.

Слово по слову, познакомились. Ленька месяц назад женился, его жену Веру после окончания Краматорского машиностроительного техникума направили на наш завод, ну, и он вслед за ней перебрался. У них есть комната в коммунальной квартире — восемнадцать квадратных метров.

По дороге домой мы узнали о нем еще больше. Что он на десять лет старше меня и на девять — Коли, что пять лет служил в авиации на Дальнем Востоке и там, заболев, потерял шесть зубов, что учиться пошел лишь потому, что не хочет быть неграмотнее Веры.

— Муж должен во всем находиться выше жены, — категорично утверждал он, — иначе нашим братом командовать станут жены. Такова тенденция на всем земном шаре, в этом аспекте и я на жизнь смотрю.

Я заметил, что Ленька любит говорить цветисто, украшая свою речь иностранными словечками.

А еще он выдал нам одно заключение:

— Любви нет — есть расчет. Не верите? А ну, скажите, какой король женился на батрачке? Не найдете такого. То-то! Да меня возьмите. Я женился на Вере по расчету. Познакомился с нею на вечере в клубе, узнал, что техникум заканчивает, ну и предложил. Все-

таки приятнее, когда жена конторой пахнет, а не машинным маслом...

Потом, поумнев через год-полтора, мы в пух и прах разобьем Ленькино заключение, а пока мы слушали его, разинув рты: мы были поражены остротой его мышления.

На другой день он спросил:

— Вы не против, ребя, если я к вам в общежитие заниматься буду приходить? Я давно учился — подзабыл все порядочно.

Мы, естественно, не возражали: втроем оно веселей.

Теперь Ленька, наскоро перехватив после смены, торопился в общежитие. Мы занимались или в Колиной, или в нашей комнате — где народа было меньше. Выяснилось, что Ленька, действительно, хоть здоров говорить вообще, но в школьной программе кумекает слабовато. Коля его натаскивал по математике, я — по литературе и русскому языку.

Леньке оставалось только жизни нас учить:

— Главное — не жениться рано. Детишками по уши обростете, впадете в протрацию, ни черта в жизни не увидите — это объективный закон природы. Я и то поторопился: в двадцать семь хомут себе на шею надел, можно было до тридцати гулять.

Он ужасно удивился, узнав, что мы с Колей не умеем танцевать.

— А ну-ка, к чертовой матери эти книжки, — сказал он однажды и бросил на мою кровать учебник химии, — берите стулья, я покажу вам, как это делается.

— Да постой, — пыхтя над теоремой, упирался Гадецкий.

— Бросай! Неужели ты не поймешь, что умение танцевать — такая же объективная необходимость, как еда и питье?.. Так, стулья держим перед собой. Разучиваем танго. С правой ноги... Два шага вперед, пошли... Мягче, Коля, ступай, мягче, ты не силос трамбуешь...

А еще Ленька помнил наизусть уйму стихов. Особенно есенинских.

— Ты знаешь такого поэта? — обратился он как-то ко мне.

— Слышал.

— Ну расскажи что-нибудь.

Я только головой покачал.

— А еще, говоришь, литературу любишь. Слушай:

Вечер черные брови насопил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?
Не храпи, запоздалая тройка!
Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка
Успокоит меня навсегда...

— Перепиши, — удивленный откровением, смелостью чувства, попросил я. Такое состояние у меня было, будто чем-то пошевелили в душе.

— У меня книжка есть.

— Дашь?

— Да. Только чтоб не свистнули ее. У Есенина еще похлеще стихи есть: «Письмо к женщине», например, «Шаганэ». Хочешь послушать?

— Хочу...

— Братцы, — взмолился в это время Коля, — алгебра ведь сегодня.

— Только «Шаганэ», коротенькое.

И полились милые есенинские стихи в обычной общежитской комнате с четырьмя кроватями, с четырьмя ситцевыми ковриками над ними, с четырьмя тумбочками, стареньким шифоньером и квадратным столом, накрытым клеенкой в пестрых цветочках. И мне чудилось, что не в этой серой комнате я сижу, а где-то парю под облаками, освещенный солнцем, и рядом со мной... Людэ Карпоносова. Мы держимся с ней за руки и слушаем вдохновенное чтение Леньки Соломки:

Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле...

— А ты говоришь, что любви нет, — подначил я Леньку, когда он закончил читать.

— Так то ж стихи, — ни капельки не смутился он, — а у жизни совсем иная субстанция.

Перед «субстанцией» я сдался — не знал, что это означает.

Ленька пересел к нам поближе: освободилось место на соседней парте (за месяц уже человек десять отселилось. В том числе и жена Колбасова: ей, как выяснилось, на Новый год рожать. А ходила в школу она просто так, чтобы любимому муженьку скучно не было).

...Сейчас идет четвертый урок — история. Директор школы Николай Иванович Плотников рассказывает новый материал, класс, притихнув, слушает. Кроме Леньки. Он, подперев щеки ладонями, посапывает. Да и сосед мой, Коля Гадецкий, тоже дремлет. Я не осуждаю их: Ленька, знаю, допоздна учит, а Коля на этой неделе работает в ночную смену, днем, конечно, не выспался. Я и сам с удовольствием бы сейчас прикорнул прямо здесь вот, на парте, — никакой кровати не нужно. Но Николай Иванович, кажется, не сводит с меня глаз, и стоит, наверное, мне лишь смежить веки, как он окликнет меня и прикажет не спать. Вот я и креплюсь.

Четвертый, последний урок, — мука мученическая. Тело наливается стокилограммовой тяжестью, расслабляется, а голова становится чугунной — хоть краном ее поддерживай. Давит усталость своей незримой лапой, неизменно давит.

Правда, по дороге домой успеваешь проветриться, улица снимает сонное состояние, и, придя в общежитие, еще долго не ложишься.

А завтра — опять в школу. Опять четыре урока.

Скорей бы выходной — хоть бы вдоволь выспаться.

Выходного я жду и по другой причине. В заводском клубе, говорил комсорг, состоится вечер молодежи. На пятачке уже танцев не бывает: октябрь все-таки наступил, теперь ребята в клубе развлекаются. Реже, конечно, два-три раза в неделю всего, но и это неплохо. Надо сходить на вечер, будет, пообещал комсорг, игра в почту, может, и она придет, и я ей тогда напишу...

Что же я ей напишу?..

— А теперь — домашнее задание, — прерывает мои мысли Николай Иванович. Я толкаю в бок Колю, Ленка сам спохватился. — Читать весь седьмой параграф.

...А действительно, что же я ей напишу?

8

Итак, за сентябрь я заработал пятьсот четыре рубля. Попробуем разбросать, сколько и куда пойдет.

Немножко вычтут налога, немножко уплачу за проживание в общежитии, немножко — комсомольские и профсоюзные взносы. Итого сто двадцать — сто пятьдесят рублей.

Остается — четыреста.

На курево: в месяце тридцать дней, каждый день по рубль сорок — я «Север» курю, — получается еще около полусотни. Остается триста пятьдесят на еду. Триста пятьдесят разделить на тридцать дней — в результате имеем одиннадцать с копейками на день.

Средненький обед стоит пять рублей.

На завтрак и ужин остается по трешке.

Три рубля стоят винегрет, котлетка и чай. Значит, дважды в день — винегрет, котлетка и чай. Никаких отступлений, иначе останешься голодным.

Невеселая арифметика.

А ведь нужно носки еще купить, майку-трусы, мыло,

ботинки к зиме, — ремесленные вон на ладан дышат. Я уже не говорю о костюме. Надоело ходить — опять же в ремесленном — кителе. Четыре года ходил, хочется хоть один костюм в жизни занять...

Про кино уже и речи нет.

— Снова эти чертовы шпильки! — кричу я со слезами на глазах Окаре. — Посмотрите, сколько я на них зарабатываю!

— А ты делай их больше, — невозмутимо говорит Окара.

— Разве на этой колымаге много сделаешь? Поставьте на хороший станок, так я...

— Нет у меня станков.

— Вот семнадцатый свободный.

— Это Панферова.

— Панферов болеет.

— Он не велел на нем работать... И чего ты вообще торгуешься? Не нравится наша смена — иди в другую.

Повернулся и пошел восвояси от моего станка Окара, не привыкший нянчиться с нашим братом новичком.

Огонь обиды опалил мою душу. Я вытер слезы рукавом спецовки, не зная, что предпринять: опять точить шпильки или?..

Пойду к начальнику цеха жаловаться!

Медленно поднимался я по деревянным ступенькам на второй этаж цеха, где находилась конторка, обдумывая, с чего начать. Впрочем, чего тут обдумывать? Зайду и скажу: товарищ Донцов, у меня нет заработка.

Вот и кабинет начальника. Слышно, как он говорит с кем-то по телефону.

Слышно, как он кладет трубку.

И я вхожу.

— Здравствуйте.

— Доброе утро.

— Я к вам с жалобой.

— Садитесь. Слушаю.

Я сел поближе к столу.

Донцов что-то записывал в настольном календаре, на меня не смотрел, но чувствовалось, что выслушать он меня готов. Он вообще к рабочим относился со вниманием, хотя был строг и крут.

Пальцами причесал рассыпавшиеся волосы, оторвал взгляд от календаря, откинулся на спинку стула.

— Слушаю, слушаю.

— Заработок у меня... — Слезы опять готовы были вот-вот скатиться по щекам, я не мог говорить, сдерживая их.

— Низкий, что ль? — пришел на помощь Донцов.

Я кивнул головой.

— Вы в чьей смене?

— Ни в чьей.

— Как так?

— Мне только с утра можно... Во вторую нельзя, в третью не пускают — несовершеннолетний. Вот я и прыгаю от мастера к мастеру... Дают мне самую плохую работу, ставят на самые плохие станки. Потому что я ничей...

— Пойдите, пойдите, — заинтересовался Донцов. — А почему вам во вторую нельзя?

— Учусь.

— Вон что!.. Учиться, конечно, надо. — Голос у Донцова с хрипотцой, но четкий и уверенный. — Мастеров тут можно понять... Но и вас тоже...

Он встал из-за стола — красивый, стройный, молодой, хотя и с сединочками в волосах, — подошел к тумбочке, на которой стоял графин с газировкой, налил полстакана и аппетитно, маленькими глотками, выпил воду.

— Вам сколько лет?

— Семнадцать.

— В какой класс ходите?

— В восьмой.

— В восьмой, — раздумчиво повторил Донцов. —

В восьмой... В двадцать окончите десятилетку, — продолжал он, — а я окончил в двадцать два. И в институт успел... Послушайте! — резко сел за стол Донцов. Чувствовалось, что его осенила какая-то прекрасная идея. — А куда вы торопитесь? Обождите год-два со школой, поработайте, влейтесь в коллектив, окрепните, наконец. Вас к тому же и в училище готовили для работы на производстве, а не для вечерней школы. А вы сейчас раздваиваете свои силы, нет от вас надлежащей отдачи. — Донцов становился все горячее, и в последних словах он уже отчитывал меня. — Мой совет, — заговорил он тише и теплее, — обождите год-два. К тому времени, поговаривают, школа двухсменная будет. Сейчас ничем помочь не могу. Но с Окарой поговорю... Кстати, вы у Шведченко числитесь — вот передо мной списки.

Я встал и молча вышел из кабинета, дрожа от бессилия. В коридоре я на кого-то наткнулся, этот кто-то — то ли женщина, то ли мужчина, я ничего не различал — зло ругнулся на меня: «Слепой, что ли!»

Бросить школу... Донцов советует бросить школу. А что скажут Коля Гадецкий с Ленькой? Слабак, скажут. А что я отвечу мужикам, когда поеду в отпуск в деревню? Что отучился? Язык не повернется сказать такое. Да и перед тем же Вовкой Комаровым я буду выглядеть недоучкой, хоть и с профессией. И, наконец, отодвинуть еще дальше мечту об институте? Ни за что! Буду сидеть на хлебе с водой, буду ходить в латаных-перелатаных ботинках, а не оставлю школу ради заработка.

Но — с другой стороны, наплывает встречный поток мыслей — прав Донцов: на завод меня привезли не для того, чтобы я познавал образ недоросля. Меня как токаря сюда взяли, ошибочно пусть — не рассмотрел Семикопенко мой год рождения, — но как токаря. И я должен действительно оправдывать свое назначение, работать пусть не в три, но в две смены, точить не какие-то

там шпильки-гайки, что может любой ученик сделать, а детали посложнее: меня ведь этому четыре года учили. Дальше. Из двенадцати вновь прибывших учились только мы с Колей. Остальные что — глупее? Нисколько. Мечты ни у кого другой нет? Не верю. Тот же Мамай в техники метит, Сашка Макашин тоже как-то заявил, что мастером хочет быть. Но не сразу кинулись они в учебу. А я, не раздумывая, — прыг в кипящее море! И вот захлебываюсь теперь, зову на помощь начальника цеха Донцова...

Монотонно гудели токарные станки, скрежетали фрезерные, чиркали шлифовальные.

Я стоял, опершись локтями о суппорт своей колымаги, и думал, думал, думал.

9

...И написал я ей самое простенькое: «№ 18, как вас зовут?» И передал записку «почтальону». Я видел, как Люда ухмыльнулась, прочитав это.

Минуты через три я получил ответ: «№ 27, вы же знаете, как меня зовут... Да, почему вы много курите? Волнуетесь?»

Я не успел ответить: заиграла радиола. Танго. Стена ребят двинулась на противоположную — девичью — сторону приглашать на танец. Там и Люда стояла. Я видел ее: она, Государская и еще одна девчонка сообща сочиняли кому-то письмо. Сейчас и ее пригласят. Кто? Гришка Битов? Он с ней уже несколько раз танцевал.

А что, если мне рискнуть? Ведь со стулом я уже мало-мальски умею. Даже кружусь уже. Пора! А то, пока я буду репетировать, прохлопаю Люду. Надо не терять времени. Вперед! Смелее!

Я шел через фойе, как танк. Тяжело и мощно. Грозным и неотразимым, должно быть, я казался, потому что, когда я взял Люду за локоток и вместо «Разрешите»

те?» чуть ли не скомандовал «Айда!», она покорно протянула руки навстречу мне. Я боялся, что она откажет, но, еще больше боялся, что она согласится танцевать. И случилось второе.

«Два шага вперед, два шага в сторону», — вспомнил я поучения Леньки Соломки. А ноги — как деревянные. Шарк, шарк. «Мягче — ты же не силос трамбуешь», — приказываю себе. Люда еще как-то подлаживается под мои шатания туда-сюда. Но вот она ойкнула — и я готов был провалиться сквозь землю: носок ее туфельки попал под мой ботинок.

— Извините.

— Ничего... не больно... Вы первый раз?

— Нет, — сбрежал я. — У меня нога малость вывихнута, вот и...

— А почему вы Валю не пригласили?

Как почему? Покончено с ней. Ничего у нас общего. А еще она вульгарная какая-то.

Это я так думал. Но не признаешься ведь во всем Валиной подруге. Ну, если не подруге, то соседке.

— Объективная причина есть, — неопределенно, вспомнив Соломку, ответил я.

Два события произошли у меня в этот вечер: впервые осмелился пригласить на танец девушку и первый раз провожал Люду Карпоносову.

Когда связист Жора включил традиционную последнюю песню «До свиданья, мои москвичи!» и народ кинулся к выходу, я чудом, помогая у выхода себе локтями, догнал Люду (дом ее рядом с клубом, она могла через минуту-две исчезнуть) и схватил ее за руку.

— Я хочу вам что-то сказать...

Стоял сырой туман, намокший асфальт был скользким, как будто его намазали машинным маслом. Мы ходили по Литейной медленно не потому, что боялись упасть, а просто нам так нравилось — идти тихим ша-

гом, взявшись за руки. Я узнал, что Люда работает делопроизводителем в отделе кадров («У Семикопенко?» — удивился я. «Да». — «Тебе известно, что он по ошибке меня привез?» — «Известно. Он с неделю больной ходил, все ругал себя»). Отец ее был газосварщиком, мать работала в отделе труда и зарплаты. Старшая сестра в техникуме училась.

Люда завидовала, что я могу заниматься в вечерней школе. «А у меня, — сказала она, — силы воли не хватает. Дважды начинала и бросала. Да и болею часто».

Я ей про училище рассказывал, про нашу отчаянную тринадцатую группу, с которой никто не сумел сладить, кроме мастера Любушкина.

Про Вовку Комарова и других деревенских ребят рассказал. О том, что я дал слово не отстать от них, а — кровь из носа, — как и они, окончить десятилетку.

И тут вспомнил совет Донцова. И закачалась земля подо мной, я стал спотыкаться от ужасной мысли: неужели придется школу оставить? Нет, ни за что не брошу!

«Не бросишь? — билось в голове. — Зачем же тогда завтра назначаешь Люде свидание? На восемь часов. В это время ты в школе должен быть. Она не придала значения? Но ведь ты знаешь! Надо было назначить на полдвенадцатого, когда из школы вернешься. Поздно? Она спать уже ляжет в это время? Тогда на субботу: в субботу вечер бывает свободным. Далеко до субботы? А ты хотел двух зайцев поймать — и свиданничать каждый день, и учиться? Нет, брат, выбирай что-то одно...»

Но Люда мне страшно нравится. Она скромная и ласковая, обаятельная и... красивее всех. Невозможно быть целую неделю без нее...

Но я уже проучился больше месяца. Я даже Вовке Комарову похвастался своими хорошими отметками. Нельзя прослыть хвастунишкой.

А как тогда быть?

Ладно, свидание переносить не буду, тем более что надо покрепче завязать узелок нашей дружбы. Пропущу один день — никто за это не повесит...

— Сколько времени? — спрашивает Люда.

— У меня нет часов, — смущенно отвечаю я.

— А почему ты не купишь?

(«Пятьсот четыре рубля...»)

— Нет подходящих...

А туман все гуще и гуще, все сильнее засасывает он и без того не очень яркий свет уличных фонарей.

10

— Вставай, заяц (Ленька нас с Колей зайцами зовет), ничего у тебя не болит. — Он стоит надо мной, лежащим в кровати с повязанной полотенцем головой. — Лоб у тебя холодный, не притворяйся. Ты здоров — это факт.

А я действительно притворяюсь. У меня сегодня свидание, и не могу же в этом признаться Леньке. Он тогда так меня понесет, что держись. Заяц, скажет, из-за юбки занятия пропускает, да у тебя этих девок будет еще хоть пруд пруди! Слабак, нюни распустил: свидание.

Потому я и хитрю, чтобы не слышать этого. Притворился больным, голова, говорю, раскалывается. И — нет-нет да охну. Вроде б мне, значит, тяжело...

Но Леньку так просто не проведешь, он заприметил неладное и не отстает от меня.

— Вставай, на улице вся хворь выветрится. Скоро конец четверти, а вы забастовали (Колю поставили на ДИП, и он, чтобы не потерять станок, решил две недели учиться, третью — пропускать. А что делать?).

— Придется одному тебе идти, — беспомощно шепчу я. — Не могу, поверь. Разламывается голова, ума не приложу, отчего. Иди... Скажешь потом, что задали.

Но Ленька садится на скрипучий, покрытый коричневым дерматином стул и категорически заявляет:

— Тогда и я не пойду.

А уже — вижу по настенным часам — десять минут восьмого. Через двадцать минут — звонок.

А Ленька не собирается уходить.

А у меня в восемь часов свидание возле беседки в скверике.

— Я на прошлой неделе хотел бросить — вы меня уговорили: поможем исправить двойки! А теперь сами — в кусты. Разве это по-товарищески?

От этих слов мне становится стыдно, и меня бросает в настоящий жар. И впрямь, то мы Леньку упрашивали учиться, а то оставили одного. У Коли, ладно, причина хоть важная — станок ДИП. А у меня?..

Подумать — так и у меня важная, черт возьми.

Да чего я прячусь, чего боюсь признаться? Ну посмеется Ленька надо мной, ну поизгаляется. Не полиняю же я от этого. Не из обидчивых я все ж...

— Ладно, встаю, — говорю я таким голосом, будто делаю одолжение. — Только я, Лень, все равно не пойду.

Соломка вопросительно поднял на меня глаза.

— Свидание у меня...

Ленька посмотрел на часы и сдержанно сказал:

— Ладно, оставайся, раз такое дело. Но чтоб последний раз. Иначе и я бросаю. Пойду вон лучше в школу мастеров.

И, сунув под мышку завернутые в газету книги и тетради, он резко встал и направился к двери.

— На обратном пути зайду.

И снова мы ходили по Литейной и по скверу. И снова говорили о самом разном, что приходило в голову мне или Люде.

В беседке, где летом обычно пропадают доминошники, мы присели на несколько минут на отполированную

лавку. Я попытался обнять Люду, тогда она встала и сказала, что ей нравится больше ходить, чем сидеть.

Туман не рассеивался уже которые сутки, на асфальте было слякотно. Ботинки мои промокли, ноги замерзли. Но коль любишь — все стерпишь.

Я все ожидал, когда же Люда спросит: неужели из-за нее я не пошел в школу? Но, видимо, не занимал ее этот вопрос. Она, должно, привыкла коротать вечера с кем-либо или за каким-нибудь занятием: вязанием, чтением, например. Это у меня одно на уме: школа, школа, школа.

— Люда, тебе мама не велела пораньше прийти? — Это мне надоела сырость в ботинках.

— Нет, она у меня не строгая.

Примерно через полчаса я намекнул, чувствуя, что скоро должен зайти в общежитие Ленька (а это негоже, если он зайдет, а меня не будет):

— Ты не продрогла? Как бы того... не простыла...

— Что ты, я, как купчиха, одежек вон сколько напялила.

— А когда мы еще встретимся? — от намеков я перешел к действиям: пора, мол, закруглять свидание.

— Давай еще погуляем, мне с тобой так хорошо, — сказала Люда и прижалась к моей руке. — Ты расскажи мне еще что-нибудь о своей группе... Если хочешь, пойдем в беседку...

И мне хорошо. Но Ленька Соломка будет ждать меня... Ах, если б можно было разорваться на части!

И металась душа моя между любовью и навешанными самим на себя тяготами вечерней школы: куда пристать?

11

На работе — нервотрепка, в школе — разные неприятные неожиданности. Ну вот, например, вчера писали классное сочинение. Тема — «Образ Чацкого».

Я начал его, казалось бы, сногшибательно:

«Уже первое крупное произведение — «Горе от ума» — принесло А. С. Грибоедову неувядаемую славу. Пушкин называл его одним из самых просвещенных людей России, он был эрудитом во всех областях знаний». В том же роде, тем же высоким стилем — бойко, начитанно — все сочинение. И больше о самом авторе, чем о главном герое его бессмертного творения.

Прочитал Коле — тот за голову взялся: «Откуда у тебя такие познания? Тебе не то что пятерки — шестерки мало».

Конечно, на завтра я ожидал только пятерку!

И вот наступило это завтра. Нелли Григорьевна на уроке русской литературы объявила, что пятерок за сочинение она, к сожалению, никому не поставила («Где же это я ошибку допустил?» — силился я вспомнить), четверок — столько-то, троек — столько-то, двоек — три, в том числе... и мне. Я не поверил своим ушам: неужели ослышался? Коля тоже не поверил, он даже вслух высказался:

— Не может быть.

Но Нелли Григорьевна железным голосом повторила:

— Да, ему два. Не раскрыл образа Чацкого. Поверхностно написал.

Это уже был удар. Нет, это был урок. Урок уважительного отношения даже к тому, что ты вроде бы и неплохо знаешь.

12

Влетает в класс Колбасов и, подняв над головой портфель, кричит:

— Ребята, а у нас, оказывается, есть поэт!

И вытащил из портфеля городскую газету «Кочегарка».

У меня похолодело сердце: неужели напечатали?

А Колбасов стал читать:

— «Горячим чувством пронизано стихотворение «Вечерняя школа» молодого токаря Ново-Горловского машзавода...» — Колбасов подмигнул мне. — Ты что жутаивал? На, смотри... Про тебя...

Это был обзор стихотворений. Там было процитировано несколько моих якобы удачных строчек (кто в семнадцать лет не пишет стихов?!):

Нет отдыха мне после смены тяжелой —
Вечерняя школа! Вечерняя школа!
Стою у доски я, не зная урока,
Стою и молчу, в ожиданьи упрека.
Приду в общежитие я невеселый.
Вечерняя школа! Вечерняя школа!
Мне больно, обидно, мне долго не спится,
Мне хочется в школе вечерней учиться...

Я был смущен, польщен, и назавтра меня включили в состав редколлегии общежитской стенгазеты.

13

Первая четверть: русский язык — 5, русская литература — 5, история — 5, алгебра — 4, физика — 4, химия — 3 и так далее. Я — один из лучших учеников в классе.

14

За октябрь заработал четыреста восемьдесят шесть рублей. Что ли, опять к Донцову идти?

15

— Иди к главному инженеру, — посоветовал Ленка. — Так и так, скажи, Наум Борисович, Донцов ничем не помог, помогите вы. И — расчетную книжку ему на стол: мне, мол, эта канитель надоела. Посмелее действуй.

...И вот я второй раз сижу в кабинете главного инженера. Прямо из цеха пришел сюда, в робе, в замасленном ремесленном бушлате. В правом кармане бушлата лежит моя расчетная книжка, но я ее почему-то положить на стол Сигалову не решился.

— Что у вас? — хмуро качнул головой Наум Борисович в мою сторону.

— Вот я учусь... — сбивчиво начал я, — по сменам бегаю... Заработка нет... Нельзя ли куда перевести?

— Хм, — помял подбородок Наум Борисович. — Прогоулов много?

— Ни одного.

— Отчего же заработка нет?

— Я же сказал: что ни неделя — новый мастер. Новый станок. Новая работа. Я — как пасынок...

— Хм, — шевельнул губами главный инженер, — пасынок... Это вы бросьте. Нам все рабочие дороги.

— Не все.

— Вы спорить пришли?

— За помощью, — вспомнил я Ленькин совет держаться побойчее.

— То-то. А куда вас перевести?

— В инструментальный.

Наум Борисович скосил лицо:

— Что вы сказали? В инструментальный? А там есть свободные станки?

— Есть, я ходил. Даже ДИП один свободный.

— Сейчас узнаем. — И Наум Борисович поднял телефонную трубку. — Мне Олтанца... Михаил Андреевич? Добрый день. Сигалов. Слушай, тебе токари нужны? Один тут паренек есть... Не нужны...

— Обманывает! — не стерпел я. — Он и мне говорил: не нужны, а сам двоих после этого принял.

— Да помолчите вы!

— ...потому что за них отцы беспокоились...

— Помолчите!

— Им, значит, создают условия, а я — не нужен...

Ах, какой я слезокап! Опять полны глаза слез, я готов разреветься от обиды, как девчонка.

— Подожди, Михаил Андреевич, — продолжал разговор с начальником инструментального цеха Сигалов, — ты мне вчера жаловался, что у тебя кто-то рассчитывается. Вот и возьми паренька... Кому пообещал? Да... Ну, ладно, диктовать не буду. Но имей в виду на всякий случай...

И Наум Борисович холодно положил трубку.

— Ничем, к сожалению, пока не могу помочь, — развел он руками. — Но, если что представится, будем иметь вас в виду. Так что не отчаивайтесь...

— Да врет ваш Олтанец! — сквозь слезы выкрикнул я. — Просто некому за меня беспокоиться... Ничего, я найду управу! — встал я. — Найду!

И направился к выходу, сжав в кулаке расчетную книжку, которую так и не вытащил из кармана.

16

Райком комсомола находился метрах в пятистах от заводууправления. Выйдя из кабинета главного инженера, я прямым ходом направился туда. По дороге жадно глотал папиросный дым, успокаивая себя, и повторял без конца одно и то же: «Ничего, я найду управу! Ничего, я найду...»

И впрямь, чего я раньше не додумался сходить в райком? Только теперь вспомнил слова секретаря, сказанные нам еще летом, когда мы, новоприбывшие, становились на комсомольский учет. Он тогда сказал: «Если обижать вас, ребята, будут, если помощь какая понадобится — приходите. Моя фамилия Федотов».

Я не замечал встречного промозглого ноябрьского ветра. Я шел разгоряченный предстоящей победой. Мне создадут условия! Федотов заставит устроить меня! Трещи, заводское начальство!..

В приемной сидела девушка-машинистка и лениво тыкала растопыренными пальцами в клавиши.

— Федотов дома?.. То есть у себя?

Растопыренная лапка девушки застыла над машинкой.

— У себя, но занят.

— Он приглашал, если что...

— Когда приглашал?

— Летом. В любое время, говорил, заходите.

— Я сейчас спрошу. Вы комсорг — нет?

— Комсомолец...

Федотов был в черном костюме, белой сорочке и не очень ярком — в полосочку — галстук. Он подал лебязье-белую мягкую руку и крепко пожал мою, замасленную.

— Прошу садиться, — указал он на стул возле его стола. — Чем могу быть полезен? Слушаю...

Я ему рассказал про все мои беды. Показал расчетную книжку. Нажаловался, что на заводе вообще никто вечерниками не интересуется, что обузой их считают. Про Гадецкого рассказал, которому приходится две недели учиться, а неделю пропускать, иначе будет иметь, как я вон, четыреста восемьдесят шесть рублей.

Федотов все записывал на бумажку, поддакивал мне, непорядок, говорил, что на заводе учебой молодежи не занимаются, мы, сказал, заслушаем комитет комсомола по этому вопросу.

Когда я все выложил, то ожидал, что Федотов сейчас будет звонить или нашему директору, или главному инженеру обо мне. А может, думал, записку какую напишет с требованием удовлетворить все мои просьбы. Но Федотов сказал мне:

— Разберись, лично разберись с тобой. Только не сразу. Донцова же не слушай. Со следующего года школа будет двухсменной, все накладки отпадут. А что касается лично тебя — я разберусь. Всего доброго!

И Федотов протянул свою ручечку.

А я опупел. Ешкина контора, когда же он разберется? Или боится директору звякнуть?

И так хлопнул дверь, что посыпалась штукатурка. И почти выбежал из райкома.

В цех я не вернулся, станок остался неубранным, инструмент — неспрятанным. А, пропади все пропадом! Как с детства в жизни не повезет, так до самой смерти будешь маяться. Нет родителей — никакой Федотов, никакой Сигалов не помогут. Донцов — тем более. Про Олтанца и говорить нечего. Он мне совсем чужой человек.

И Люда против меня. Вчера, после занятий, я увидел ее с Гришкой Битовым. Возле ее подъезда. Они сидели на скамейке, его рука лежала на ее плечах. Обманщица! Я даже подходить близко не стал. Я только сунул кулак в рот, чтобы не закричать: «Как ты смеешь изменять?» И ушел в общежитие. И почти до утра не мог уснуть, спрашивая самого себя: как она могла?..

Так что — все против меня! Мне не хочется видеть это серое небо, не хочется дышать этим воздухом, не хочется ходить по этому мерзкому холодному асфальту.

Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.

Я никому не нужен!

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Я — по одну сторону стены, остальной мир — по другую...

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди,
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

Четыреста восемьдесят шесть рублей...

Это кто там стоит на ступеньках столовки и манит меня пальцем? Шлифовщик Степа Стариков? Он. Зачем я ему понадобился?

— Иди, иди... — зовет Степа.

Я приблизился, продолжая шептать какие-то есенинские стихи.

— На двоих хочешь?

Я не понял.

— Давай на двоих бутылочку?

Я согласно кивнул.

— Сбегать?

— Она уже, красавица, тут. — И он, отстегнув пуговицу пальто, показал сургучовую головку «Московской».

Я заказал по салату из селедки и шницелю. В столовой было пусто, мы уселись в дальнем углу. Степа закурил, но официантка вроде бы и не заметила этого.

— Только на пол не сори, — сказала.

Степа налил мне по завязочку. Я крепко обхватил стакан и лихо поднес к губам. Глоток, два, три... Мерзко, вонюче... Но не отступать же... И я еще больше запрокинул голову, чтобы водка лилась самотеком.

Селедку я ел нормально, а когда пододвинул второе, то попасть вилкой в шницель уже не мог.

Наверное, Степа посоветовал мне идти домой, потому что вскоре я оказался в общежитии. Кое-как снял в бытовке робу, босиком прошлепав к умывальнику, кое-как умылся и повалился на кровать.

В комнате никого, кроме меня, не было: Мамай и Сашка Макашин еще не пришли с работы, а Сахаров уехал в отпуск, по секрету сообщив нам, что обратно он вряд ли вернется.

Увядаящая сила!
Умирать так умирать!

На краю стола лежал остро заточенный нож из ножовочного полотна. Мы им хлеб обычно режем, масло намазываем...

Я протянул руку, достал нож, потрогал пальцем лезвие — остро!

А что, если?!

Четыреста восемьдесят шесть рублей...

Окаре я не нужен, Никулину — тоже, Шведченко хоть и сочувствует, но поделаться ничего не может. «Вот исполнится восемнадцать — на лучший станок поставлю... Работать ты умешь...»

Я виноват в том, что мне нет восемнадцати...

А Люда... С Гришкой Битовым...

Федотов когда-то обещает разобраться. Когда? Завтра? Через неделю? А я потратил последние деньги на закуску...

Увядающая сила!
Умирать так умирать!

Умирать? А зачем? Нет, я умирать, пожалуй, не буду! Я просто докажу, что у меня есть сила воли, что меня голыми руками, товарищ Окара, товарищ Донцов, ты, Люда, не возьмете... Я еще поборюсь!..

Я разжал пальцы, но ручка ножа, обмотанная изоляционной лентой, прилипла к ладони. Тогда я сделал рукой резкое движение, и нож полетел под стол.

Отвернувшись к стене, я укрылся с головой одеялом и заплакал. Обида отступала, слезы подмывали ее, как вода подмывает песчаный берег, и она обрушивалась, обрушивалась...

Наступило облегчение.

И тут дискнула дверь. Это Мамай и Сашка Макашин.

Я затих.

— Заболел, наверно, — предположил Макашин.

— Он плачет, — тем же шепотом сказал Мамай. — Снится, может, что...

Вовка Комаров прислал письмо:

«Тяну на золотую медаль. Классный руководитель говорит, что, если не зазнаюсь или не начну лениться, учителя сделают все, чтобы я окончил школу медалистом. Директор велел освободить меня от всех общественных нагрузок...»

А я на сей раз решил окончательно бросить школу. Твердо. Не поддамся ни на какие уговоры (знаю — они будут). Ни бог, ни царь, ни комсорг завода Колька Дударев не заставят меня теперь взяться за учебники.

Светло-коричневый портфель мой пылится под кроватью. Пусть пылится, сдам его в камеру хранения или подарю Гадецкому.

А в деревне и ноги моей не будет. Не поеду туда ни за какие деньги. Пусть Вовка Комаров радуется своей медали, мне до него больше дела нет. Разные у нас с ним пути. Он с отцом-матерью живет, ему можно учиться, а я... Я другую медаль, может, со временем заслужу — трудовую. У меня вон уже пятый год стажа, если ремесленное училище считать. А у Вовки? Полсотни трудовней за лето?..

Последую я, пожалуй, примеру Буренкова. И заявлюсь однажды в родную Хорошаевку с медалью на груди...

Не раздеваясь, в рубашке и брюках, я лежу на кровати. Свет выключен, я мечтаю в темноте. Хорошо на душе, легко. Наконец-то решился расстаться с учебой! Вот дурачок! Три месяца жил сам не свой! Из-за чего? Из-за принципа: не отстану от Вовки Комарова! Плевать теперь на все — и на принцип, и на Вовку. Теперь в две смены ходить буду, заработаю больше. Тем паче, что Шведченко сказал, что, когда они пойдут в ночную смену, наряд мне будет выписывать он.

Я лежу на кровати. Руки — за голову. На душе легко

и радостно, как поется в песне. Свет выключен, комнату я закрыл на ключ, чтобы никто не мешал мне отдыхать и думать. И хорошо, что никто не мешает...

Но чу! — знакомые шаркающие шаги. «Коля Гадецкий!» — кольнуло меня в сердце. Как быть?

Он дернул за ручку дверь.

— Открой...

Ни за что! Пусть думает, что никого нет.

Постучал трижды костяшками пальцев.

— Открой, я же знаю, что ты дома. Мамай и Макашиц сказали — я в клуб ходил, они там на танцах. Да и ключ торчит...

Все, я погорел! Продали меня хлопцы. Я ведь им русским языком объяснил: если меня будут спрашивать, говорите, что уехал к знакомым землякам. Нет же, выболтали... Да и ключ я, недотепа, не догадался вытащить...

— Открой, пора в школу. Соломка сегодня не пойдет. Он забегал, сказал, что у него жена заболела... Соберайся. Если ты не пойдешь, и я брошу... Ну? Соломка велел передать, что он почти договорился с начальником ОГМ о твоём переводе к ним. У них, сам знаешь, одна смена... Открой... Я же вижу, что ключ торчит.

Если бы мне отрезали руки-ноги, мне кажется, я бы испытывал меньшие муки, чем сейчас, когда бескорыстный мой друг Коля Гадецкий уговаривал меня под дверью идти в школу. А я при этом лежал на кровати и терзался: отозваться — не отозваться?

Господи, ну зачем я связался с этой вечерней школой?! Теперь, выходит, я буду виноват в том, что и Коля ее бросит...

— Открой, слышишь?

Если я сейчас не отзовусь, потеряю друга, окажусь слабаком в его глазах, а он об этом еще кому-нибудь расскажет, а те — еще кому-нибудь. И не видать мне

трудовой медали, как своих ушей! Медали слабакам не дают...

И я подхватываюсь с кровати...

18

Вторая четверть: русский язык — 5, русская литература — 5, история — 5, геометрия с алгеброй — 4, по химии только тройка.

Ленька Соломка с помощью комсорга завода Николая Дударева действительно договорился о моем переводе в ОГМ. Все ничего, только упрекнул незло комсорг меня: «Ты чего по райкомам через голову ходишь?»

Я не понял.

— Чего ко мне не явился, а сразу к Федотову?

«Вон что», — дошло до меня.

— Федотов привет тебе передавал. Велел заходить, если что... Заодно попросил уши тебе надрать за обитую штукатурку в его приемной. Сейчас суд совершим или потом?

— Потом.

— Договорились. После получения аттестата...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ну ладно, с учебкой-то я как-никак справлюсь, думал я после встречи с комсоргом, не слабодушным вроде родился. Но как новая работа пойдет? Как отнесутся слесари-ремонтники к моей учебе? Может, поддержат, может, отговаривать начнут...

Ей-богу, если бы врачи умели менять человеческий характер, я первым бы согласился на самую опасную операцию, дабы избавиться от своего — настырного. Это он, он виноват во всем! Он подверг меня испытаниям вечерней школой на разрыв и растяжение. У-у, поганец!

...Оставалось обижаться на характер совсем ничего. — два с половиной года.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Трое</i>	3
<i>Самый счастливый год</i> . .	95
<i>Тринадцатая группа</i> . . .	167
<i>Вечерняя школа</i>	223

Иван Захарович Лепин

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ГОД

Повести

Рецензент В. Семнов

Редактор Н. Гашева
Художник В. Остапенко
Художественный редактор С. Лузин
Технический редактор В. Чувашов
Корректор Г. Борсук

ИБ № 1194

Сдано в набор 27. 07. 84. Подписано в печать 11. 01. 85. ЛБ02027. Формат 70×108¹/₃₂. Бум. тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,90. Усл. кр.-отт. 12,24. Уч.-изд. л. 12,246. Тираж 30 000 экз. Заказ № 470. Цена 95 к.
Пермское книжное издательство, 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30.
Книжная типография № 2 управления по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 614001, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.





95K011